



!
   
 Садран мой лес (наконец) и
   
<sup>лесенки и</sup> <sup>привле</sup> <sup>звук</sup>
  
 Кривоно <sup>и</sup> <sup>Собесед</sup>
  
 За свою Германи, - и <sup>дети</sup> -
   
 Грече, -
   
 Как вода в публически колодез
   
<sup>долгие</sup> <sup>Лив</sup>
  
<sup>герма</sup> <sup>и</sup>
  
<sup>шадина</sup>
  
 Чужа в ней и рожельбу
   
 афамачи сенью табакками
   
 звезда.

”Сохрани  
 мою речь...”

Мандельштамовский сборник



Издательское  
 предприятие

• ОБНОВЛЕНИЕ •

Москва  
 1991

МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЕ  
 ОБЩЕСТВО  
 w 79

Составители  
*Павел Нерлер,*  
*Александр Никитаев*

«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ...»

Мандельштамовский сборник

Заведующая редакцией *С. Митрохина*. Редактор *Н. Волкова*. Художник  
*В. Горин*. Технические редакторы *Н. Калиничева, Л. Беседина*. Корректоры  
*Т. Тихомирова, Е. Коротаева*.

С68 «Сохрани мою речь...»: Сборник/Сост. П. Нерлер,  
А. Никитаев.— М.: Издательское предприятие  
«Обновление», 1991.— 96 с.

В сборник вошли статьи, рецензии, стихотворные переводы  
Осипа Мандельштама, воспоминания о поэте, неизвестные доку-  
менты, статьи.

ISBN 5-85828-003-X

Сдано в набор 21.12.90. Подписано к печати 23.05.91. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типограф-  
ская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 5,06. Усл. кр.-отт. 5,11.  
Уч.-изд. л. 6,84. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2019. Цена 3 р. 50 к.

Издательское предприятие «Обновление». 109180, Москва, ул. Димитрова, 12.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003,  
г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.

© Издательское предприятие «Обновление». 1991

Исполнительный Совет ЮНЕСКО... принима-  
мая во внимание, что в 1991 году исполняется  
100 лет со дня рождения Осипа Мандельштама,  
выдающегося поэта, чье творчество, проникну-  
тое тонким лиризмом и одновременно глубоко  
философское, отразило высокое понимание  
общечеловеческих ценностей и идеалов, дум  
и чаяний интеллигенции на крутом переломе  
истории, учитывая, что лучшее знание работ  
Мандельштама и их переводы на иностранные  
языки обогатят духовный мир тех, кто еще не  
знаком с его творчеством, призывает Генераль-  
ного директора и международные неправитель-  
ственные организации, сотрудничающие с  
ЮНЕСКО, надлежащим образом отметить эту  
годовщину.

Из решения 135-й сессии  
Исполнительного Совета ЮНЕСКО  
Париж, 22 октября 1990 г.

Этот сборник возник из материалов, первоначально предназначавшихся для «манделштамовского» приложения к «Литературке». Но это «Досье» приказало долго жить.

Мы не пожелали с этим смириться и благодарны издательству «Обновление» за предоставленную возможность отметить столетие со дня рождения Осипа Эмильевича этим скромным сборником.

Хотелось бы верить, что это издание — только начало серии манделштамовских сборников, выход которых станет заботой созданного в юбилейные дни января 1991 г. Манделштамовского общества.

Его учредители — Русский советский Пен-центр и московское общество «Мемориал». В его общественный совет вошли С. С. Аверинцев (Москва, председатель), А. Г. Битов (Москва), Кл. Браун (Принстон), С. В. Василенко (Фрязино), М. Л. Гаспаров (Москва), Э. Г. Герштейн (Москва), В. Л. Гордин (Воронеж), Р. Дутли (Париж), Е. П. Зенкевич (Москва), Л. Ф. Кацис (Москва), Ю. Н. Кушков (Москва), А. С. Кушнер (Ленинград, заместитель председателя), Ю. И. Левин (Москва), В. Н. Леонович (Москва), Г. А. Левинтон (Ленинград), С. И. Липкин (Москва), А. А. Манделштам (Москва), В. М. Марков (Владивосток), Д. Майерс (Лондон), А. Г. Мец (Гатчина), А. В. Наумов (Москва), П. М. Нерлер (Москва, заместитель председателя), А. Т. Никитаев (Москва), Л. А. Озеров (Москва), Р. И. Рождественский (Москва), О. Ронен (Анн-Арбор), Д. Сегал (Иерусалим), Е. Ю. Сидоров (Москва), Н. А. Струве (Париж), Р. Д. Тименчик (Рига), Е. А. Тоддес (Рига), Л. С. Флейшман (Стэнфорд), Ю. Л. Фрейдин (Москва), И. Е. Харитончик (Воронеж), Д. И. Черашняя (Ижевск), М. О. Чудакова (Москва), Е. Г. Эткинд (Париж).

Целями общества станут собрание, сохранение, изучение и популяризация творческого наследия поэта. Докладом С. С. Аверинцева уже начал свою работу Манделштамовский семинар, разрабатываются исследовательская и издательская программы. Общество стремится создать в Москве Манделштамовский культурный центр, в нем будут библиотека, архив, постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Манделштама, его книги, научный отдел со специально подобранной литературой, с собранием ксерокопий его публикаций, автографов, откликов в печати и т. д. Важнейшие направления научной деятельности — текстология, биография, библиография, иконография поэта.

Центр станет местом встречи, общения читателей манделштамовских стихов и манделштамоведов. Его членом может быть каждый интересующийся Манделштамом человек. Вступительный и годовой взносы предусмотрены, но не являются обязательными; предусмотрено коллективное и почетное членство, а также попечительство (попечитель перечисляет на счет Общества 5000 рублей; временно свой расчетный счет — № 700283 в Шаболовском отделении Жилсоцбанка г. Москвы — предоставил московский «Мемориал»). Среди попечителей Общества — газета «Московские новости», Литературный институт им. А. М. Горького, Союз писателей СССР, Министерство культуры СССР, Гуманитарный фонд им. А. С. Пушкина, Всесоюзный киноцентр, издательское предприятие «Обновление» (председатель Попечительского Совета — ректор Литинститута Евг. Сидоров). Общество имеет представителей в Ленинграде, Воронеже, Саратове, Омске, Ижевске, Владивостоке, Грозном, Белгороде, Симферополе, Новосибирске, Новгороде, Астрахани.

## Сочинение

## ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»<sup>1</sup>

## I

По тому, как относится данное мировоззрение к проблеме преступления и наказания, — можно вскрыть его сущность. Это — проблема чисто нравственная, — а для любого мирозерцания наиболее характерно его отношение к вопросам человеческой нравственности. Преступлением называется человеческое действие, противоречащее правилам нравственности. Наказание — есть нечто, постигающее преступника, — тесно связанное с чувством нашего удовлетворения. Должно ли преступление влечь за собой наказание? Высшая нравственность отвечает на этот вопрос отрицательно, в том смысле, что чувство удовлетворения, испытываемое нами от перспективы наказания, настолько же безнравственно, насколько и само преступление. Но относится это лишь к тем случаям, когда человек наказывает человека и делает это сознательно. С точки зрения позитивной, реалистической — не может

<sup>1</sup> «Есть ценностей незыблемая скала...» В русской поэзии это Пушкин. Среди крупнейших русских поэтов XX столетия к нему не было равнодушных. Манделштам, кажется, был единственным, не посвятившим Пушкину прямого и цельного поэтического высказывания. Имя Пушкина, скрытые цитаты из его стихов и поэм нередки в статьях и художественной прозе Манделштама, но в стихах они встречаются лишь дважды.

Почему? Ответ находим у Ахматовой, в ее «Листках из дневника»: «К Пушкину у Манделштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия».

Известно, что том Пушкина, как и том Данте, сопровождал Манделштам всю жизнь — во всех его странствиях и заключениях. Тем

быть иного наказания, как человеческое, ибо преступление преступно лишь с человеческой точки зрения.

Всякое положение, в которое попадает преступник, напоминающее наказание, но не являющееся в то же время результатом сознательного акта человеческой воли, рассматривается с этой точки зрения — как следствие случайного стечения обстоятельств; если же оно логически вытекает из преступления, то считается имеющим такое же отношение к преступлению, как обыкновенная причина к обыкновенному следствию. Но теология известного рода возводит в принцип этот последний частный случай, и искусственно подводит под эту последнюю категорию все остальные возможные отношения. Наказание она представляет себе всегда — как следствие преступления, а не чего-либо иного, а на преступление смотрит как на причину, в которой неизменно заключается зародыш наказания. В подобном учении преступление всегда логически связано с наказанием через посредство Бога, абсолютной справедливости или другого высшего начала, которое само отстаивает свои права.

Эта точка зрения особенно противна и отталкивает всего сильнее тогда, когда ее берут под свою защиту поэт или художник. Поэтической формой, ярким художественным воспроизведением поэт оказывает обыкновенно идее возмездия, которую он хочет защитить, настоящую медвежью услугу. В художественном произведении — всего рельефнее выступают и лучше всего бросаются в глаза — уость, неестественность, лживость и лицемерие теологической точки зрения.

---

интереснее познакомиться с сочинением юного Осипа Манделштама, ученика Тенишевского коммерческого училища в Петербурге, где он проучился до мая 1907 года.

В то время ближайшим товарищем Манделштама был Борис Синани, в семье которого, чудом пережив блокадное лихолетье, и сохранилась большая общая тетрадь с конспектами лекций по русской и европейской литературе. В ней и записана публикуемая ниже (с сохранением особенностей письма автора) сочинение Манделштама «Преступление и наказание в «Борисе Годунове» (датируется 1906 годом). Предлагая его читательскому вниманию, хотим поблагодарить Игоря Борисовича Синани, любезно предоставившего текст сочинения, а также Н. К. Бруни-Бальмонт, указавшую местонахождение рукописи, ныне находящейся в ГПБ. (Здесь и далее: примечания и послесловия, авторы которых не указаны в тексте, принадлежат составителям.)

Был ли Пушкин в своих взглядах свободен от теологии или нет, но как автор «Бориса Годунова», силой своего артистического чувства, он понял, насколько антихудожествен и антиреалистичен теологический взгляд на наказание.

Наказание в «Борисе Годунове», если несчастье, постигшее Годунова, можно вообще назвать наказанием, построено просто, легко и свободно; все совершается на земле, по земным законам, на основании естественной причинной связи явлений — без участия, без вмешательства Высшей Силы.

Все это Пушкин сделал, как художник-реалист, и в этом — художественная ценность «Бориса Годунова».

Наказание, постигшее Годунова, слагается из двух совершенно самостоятельных процессов. Первый — происходит в душе Годунова и так или иначе отражается на его поведении; угрызения совести, раскаяние, страшные душевные муки отравляют существование Бориса, лишают его необходимого спокойствия, отнимают у него решимость, твердость, энергию и волю. Этот процесс исходит непосредственно из самого акта преступления, и только из него одного, но его еще недостаточно, он сам по себе еще не ведет к наказанию, т. е. к падению Годунова. Он дополняется другим процессом, который почти совершенно, даже вовсе не зависит от душевного состояния Бориса, хотя и стоит в некоторой чисто внешней связи с Борисовым преступлением. Это — появление Самозванца, его бегство, его успехи, его поход на Москву — заканчивающийся победой. Карамзин и Белинский, несмотря на всю противоположность своих взглядов, сходятся на том, что причины падения Бориса следует искать в нем самом, в его душевном состоянии, в свойствах его ума и характера. Карамзин находит разрешение вопроса: почему должен был пасть Годунов в его нравственном падении перед самим собой, в терзаниях большой совести. Белинский считает, что Годунов не мог закрепить за собой престола, потому, что не был гениален, а только талантлив, потому что не мог ничего противопоставить честолюбию соперников, — ни новой идеи, ни нового государственного принципа, а обаяние его личности было не настолько велико, чтобы масса привыкла видеть в этом выскочке законного

царя<sup>2</sup>. Падение Годунова было обусловлено не одним только его душевным состоянием, но, поскольку это последнее влияло на судьбу Бориса, и Белинский, и Карамзин до известной степени правы. Не отсутствие гениальности погубило Годунова, и не угрызения совести, но обе причины имелись налицо и оказали свое действие. Вся личность Годунова, весь он целиком, все свойства его характера в своей совокупности толкали Бориса к печальному концу, а не одна только добрая совесть и не одно только отсутствие гениальности. К особенностям характера Годунова, на которые указал Белинский, следует еще прибавить — болезненное самолюбие, раздражительность, неумение владеть собой и заставить себя уважать. Но не будь Самозванца, все эти специфические черты духовного облика Бориса не привели бы его к роковому концу, не помешали бы ему, может быть, влачить еще много лет свое венценосное существование, пока он не забыл бы о своих старых грехах, а бояре не помирились бы с разумным и, в сущности, добрым царем. Что же способствовало успеху Лже-царевича? Без сомнения, перемена в настроении различных общественных слоев и, наконец, личность Самозванца.

Бояре с самого начала драмы относятся к Борису с явным, нескрываемым предубеждением. Вряд ли можно объяснить это отрицательное отношение нравственными мотивами.

Бояре рисуются из «Бориса Годунова» не очень-то нравственными людьми — измена, месть, предательство, тайное убийство, шпионство, ложь, — вот атмосфера придворной жизни, с которой бояре, очевидно, вполне сроднились. Как на счастливого соперника своего смотрят бояре на Бориса, им **нужно** поэтому его унижить в собственных глазах и также в глазах народа, средств для этого много, — и, не убивай Годунов Димитрия, они нашли бы десяток других преступлений, которые не постыдились бы ему навязать.

Обратимся теперь к народу.

Можно ли признать в пушкинском «народе» носителя справедливости, представителя высшей нравственности? Народ у Пушкина обрисован поверхностно, самыми общими штрихами. К избранию Годунова народ относится довольно бессознательно и пассивно, но тем не менее он

<sup>2</sup> См. в статье В. Г. Белинского «Борис Годунов» / *Белинский В. Г. Собр. соч.* М. 1981. Т. 6. С. 437—442.

хочет Годунова — нельзя сказать, чтобы кто-нибудь морочил его и **навязывал** ему Бориса, потому что **иначе** народ не мог бы отнестись к избранию царя, которое представляло для него чисто внешний интерес. Но вот появляется щепетильное отношение народа к злодеянию Бориса. Однако и не с такими злодеяниями на троне мирился, бывало, народ. Дело здесь отчасти в том, что Годунов выскочка, но еще больше — в каких-то силах, которые под конец изменили вовсе настроение народа и бросили его в объятия Самозванца. Эти силы — подлежат изучению историка, они находятся вне компетенции поэта. Поэт лишь «констатирует факт».

Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: «вязать Борисова щенка!» — заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа. Зато духовенство основывает свое отношение к Борису на чисто нравственных началах. И в то же время оно является единственным во всей драме представителем теологической точки зрения. Во всех событиях духовенство видит перст Божий, карающий несчастного цареубийцу. Оно последовательно и не изменяет своему взгляду от начала (Пимен в келье) до конца (рассказ Патриарха).

Наконец, личные свойства Лжедмитрия немало способствовали успеху. Он обладал удивительной силой влияния на людей, ловкостью, смелостью, доходящей до дерзости, и, наконец, несколько поверхностным, но все же блестящим умом. Из этого сочетания пестрых, разнородных элементов получается вполне художественная канва для драмы, где на фоне взаимодействия самых случайных разнородных сил трагически выделяются две личности — Бориса и Гришки Отрепьева.

Не преступление и не наказание составляют главный интерес «Годунова», а эти две личности, поставленные силой внешнего стечения обстоятельств в исключительно трагическое положение.

*Публикация П. Нерлера*

## Рецензия

ДЖЕК  
ЛОНДОН.

Собрание сочинений с предисловием Л. Андреева.  
Перевод с английского под редакцией А. Н. Кудрявцевой.  
СПб. 1912. К-во «Прометей» Н. Н. Михайлова<sup>1</sup>.

На обложках Джека Лондона печатается похвальный отзыв Леонида Андреева. Если бы издатель пожелал заручиться мнением настоящего профессора «дурного вкуса», он не мог бы сделать лучшего выбора. Как всегда беспомощный в выборах своих эпитетов, Л. Андреев называет Лондона «свежим» талантом, между тем как эта определенная в применении к сливочному маслу похвала ни с какой стороны не характерна для художественного дарования. Анемичному русскому обывателю необузданный здоровяк Лондон пришелся как нельзя более по вкусу: его герои живут особенно охотно за Полярным кругом, отличаются железной выносливостью, пьют виски, как воду, и т. п.

Однако, связь этого мнимого дикаря с новейшим, чисто американским развитием техники — несомненна. В универсальном техническом прогрессе человеческая машина-организм занимает одно из последних мест, но могущественный спорт в союзе с разнообразными идеалами физического процветания идет навстречу этому чувствительному техническому пробелу современности. С прозорливостью янки Джек Лондон взял патент на усовершенствование нового человека еще раньше, чем его тип был осуществлен в действительности естественным подбором и спортивными упражнениями. Полярный скорород, проходящий на пари две тысячи миль в 60 дней при 90° мороза — (Сын Солнца) — или плантатор, больной дизентерией, исключительно волевым напряжением властвующий над толпой людоедов на Соломоновых островах — (Приключение) — великолепные человеческие особи. И нужно отдать справедливость Лондону: фантастическая мужественность его героев временами правдоподобна и подчас внушает уважение. На примере Лондона можно видеть, чего может достигнуть художественно бесплодный и скудный писатель, если он находится в доб-

ром согласии с инстинктами и заповедями своей расы. Отсутствие всякой сентиментальности в мирозерцании и суровая деловитость в отношении к жизни англосакса привлекательны для размягченной славянской души. Гений расы, о котором любит говорить Лондон, покровительствует ему и создает иллюзию художественного дарования.

Но художественная значительность произведения измеряется не глубиной мыслей, высказываемых автором, а теми произвольными духовными испарениями, которые создают атмосферу произведения. Вокруг приключений Джека Лондона — самая обыкновенная духовная пустота, как вокруг газетного фельетона или рассказа Конан-Дойля. Как и прочие англо-американские писатели-спекулянты, Джек Лондон искусственно вызывает острое любопытство с тем, чтобы сполна и добросовестно его удовлетворить; если на первой странице рассказ пленительно нов, то на последней — смертельная скука ликвидации и погашенных векселей. Джек Лондон никогда не поднимается выше мудрости кинематографа, и роман как-то сам принимает у него очертание мелодрамы с добродетельным финалом на лоне природы и «головкой героини на плече героя».

Лучшее в кинематографе — так называемые видовые картины: и Лондон разворачивает бесконечную ленту монотонного северного пейзажа, аляповатого, как панорама, и мелькающего, как живая фотография, гипнотизируя читателя автоматической готовностью показать сколько угодно тысяч метров.

«Художественный» прием Лондона — непрерывность действия. Каждая страница дает новую сенсацию подобно тому, как номер американской газеты содержит очередное убийство. Джек Лондон так мало знает, что ему делать с людьми, и — что весьма отрадно — ему так не хочется обращать их в манекенов, что он предпочитает убивать их, как только они сделают свое сенсационное дело. Идеология Джека Лондона поражает своим убожеством и своей старомодностью с европейской точки зрения: весьма последовательный и хорошо усвоенный дарвинизм, к сожалению, прикрашенный дешевым и дурно понятым нищезанятием — он выдает за мудрость самой природы и колебимый закон жизни.

В одном месте Лондон обмолвился значительным признанием: «огромная, страшная и чужая вещь, которая называется культурой». Эта скромная самооценка и на-

<sup>1</sup> Впервые напечатано в журнале «Аполлон». 1913. № 3. С. 72—74.

ивное благоговение перед чужой и непонятной сложностью культуры — пожалуй, самое ценное в Лондоне. Болезнь Нового Света, тайный недуг чудовищных городов — культурное одичание — нашло в Джеке Лондоне неожиданно-привлекательного выразителя. Дело в том, что у Лондона это историческое одичание не обусловлено личным вырождением, а выступает особенно наглядно на фоне безукоризненного физического и душевного здоровья. Современному человеку нет надобности ехать в Клондайк или на остров Тихого океана, чтобы почувствовать себя дикарем: так легко заблудиться в лабиринте Нью-Йорка или С<ан>-Франциско, в стихийном лесу молодой цивилизации, мощная растительность которого непроницаема для живительных лучей культуры. Безобидная занимательность и душевная ясность Лондона делают его незаменимым писателем для юношества. Наивное увлечение Лондоном взрослых читателей можно только приветствовать: оно показывает, насколько поверхностным были прежние увлечения писательской толпы и что если подлинное искусство пользовалось успехом, то проникало в умы контрабандой, под флагом посторонних соображений.

Перевод, который очень бранили в прессе, сделан хорошим фельетонным языком; другого перевода Лондон, бесконечно равнодушный к задачам стиля, не заслуживает.

*Публикация П. Нерлера*

## Очерки

### СЕВАСТОПОЛЬ<sup>1</sup>

Схлынула волна приезжих. Закрылись самые дорогие рестораны. Опустел Приморский бульвар. Севастополь предоставлен самому себе, чистенький, раскидавший от кургана до кургана старые военные постройки, пакгаузы, дома с колоннами, казармы и памятники.

Севастополь — приемник всей курортной волны. Скорые поезда выбрасывают на маленькую площадь из одноэтажного белого вокзала массу пассажиров; их подхватывают хищники-автомобили, скромные линейки, обтянутые

<sup>1</sup> Известия. 2 ноября 1923 г.

полотном. Крошечный трамвай мчится в гору, и сразу проникаешься атмосферой маленького города: у вас, гражданка, нет мелочи, — говорит кондуктор, — ну, ничего: в следующий раз заплатите.

Кажется, в Севастополе не было построено ни одного нового здания с самой осадой: те же самые пузатые дома, толстые стены, колонны, маленькие окна, балкончики и завитушки. Он сохранил внешний вид полумещанского, полувоенного приморского городка.

В магазинах все продают втридорога, гораздо дороже московского. Это все для приезжих; местный житель идет на базар, подошедший вплотную к зеленой, пропитанной нефтью морской воде.

Здесь бесчисленные парикмахерские с живописными восточными вывесками тщечно ждут клиентов, стучат кости домино в турецкой кофейне, пышет жаром, как домашняя печь, булочная, работающая на мазутном огне.

Единственная газета в городе — газета военмора «Аврал». Энергичный листок, умеющий находить крепкие слова, всегда простые и сильные для домашнего военморского быта, типичная «своя» газета, подошедшая вплотную к своему читателю.

Татарское население в городе — меньшинство. Возле базара приютился скромный татарский клуб. Здесь разучивают на стареньком фортепиано национальные мелодии, ставят злободневную оперетку; оживленно хлопочут молодые деятели татарского театра в маленьких барашковых шапках, с упрямыми скуластыми лицами и косыми глазами.

Уже вечерело, когда я подходил к освещенному зданию морского собрания. Происходило общее собрание союза грузчиков. На скамейках плотными рядами сидели рабочие в пропыленных мукой широких блузах, все один к одному, как из камня обтесанные массивные фигуры, молчаливые и сдержанные. Президиум из трех с величайшим напряжением старался овладеть аудиторией, которая тяжело ворочала свою думу, плохо верила, туго поддавалась.

— Вы не смотрите, товарищи, что в Керчи и в Феодосии приняты высшие ставки, — говорил председатель. — Надо думать, чтобы нам всем не надорваться. Нельзя заставить государство платить через силу: нам же хуже будет.

И с трудом проникали веские слова в сознание слу-



шателей. Из грузного, но внимательного собрания по временам слышались недоверчивые возгласы, иронические вопросы.

Особенно досталось правлению за кассу взаимопомощи: грузчики никак не могли согласиться с тем, что нельзя расплывать ссуды, и попрекали кассу покойником, которого не удалось вовремя похоронить из-за невыдачи ссуды.

Когда принимали отчет правления, в голосовании участвовали далеко не все — подавляющее меньшинство, остальные воздерживались и думали свою тяжелую думу. Видно было, какого колоссального труда стоит деятелям местного профсоюза поднять глыбу этих силачей, завоевывать их доверие; и все-таки это им удастся, и словно стальные канаты протягиваются между организатором и массой.

Гордость Севастополя — «Институт физического лечения». Этот великолепный дворец может составить славу любого мирового курорта. Белоснежные сахарно-мраморные ванны, огромные комнаты для отдыха, читальни с бамбуковыми лежанками, настоящие термы, где электричество, радий и вода бьются с человеческой немощью. Никаких очередей, быстро и вежливо обслуживают массу пациентов.

«Институт физического лечения» — настоящее сокровище Севастополя. Он мог бы обслуживать гораздо больше больных, приходящих, конечно, если бы только было, где жить. Для того, чтобы институт мог развернуть свою огромную пропускную способность, необходимо дать возможность приезжим устраиваться около института. Лечение в Севастопольском институте для многих гораздо полезнее, чем пребывание в санаториях Южного берега, где отсутствует великолепное оборудование института.

Лечебное будущее Севастополя в связи с институтом — все впереди.

## КРЫМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ<sup>1</sup>

Когда-то у эмира было пять собственных экипажей, он был поставщиком роскошных дач, десятками десятин считались его виноградники.

Сейчас он глядит смиренно, жалуется, кричит, но смотрит лисой. Он уже забрал в свои руки поставку ви-

нограда и фруктов на всю окрестность, снарядил пару линеек, купил в Севастополе баркас для рыбной ловли и — странное дело — сын его в исполкоме, и он за сыном спокоен.

Эти эмиры — превосходные организаторы. Они любили действовать под флагом артели и кооперации.

На южном побережье работает несколько артелей виноградных товариществ. Старые прессы починены и пущены в ход, течет крепкое сусло, работают опытные мастера, выходы из южной Европы, уже настоящие крымчаки.

Но превратить свой виноград в вино, послав его в артель виноделов, — нелегкое дело для среднего крестьянина.

Ему трудно подняться. Прежде всего, он физически слаб и, не пользуясь наемным трудом, не мог как следует перекопать своего виноградника; поэтому сорта винограда для него невысоки, культура страдает. Со всех сторон слышны разговоры о необходимости образования настоящих артелей трудовых виноградарей, происходят совещания, где достать кредит.

Масса татарского крестьянства совершенно переродилась за последние годы.

Дети очень плохо оправились от последствий недоедания. Золотуха, коклюш, рахитические заболевания, всяческие язвы на почве истощения. Они, как зверьки, бегают по улицам, радуются солнцу, выздоравливают, но за ними нужен крепкий уход, а родители дать его не могут.

Нередко можно наблюдать сильнейшую семейную вражду между хозяйством, которое оправилось, и хозяйством, которое пришиблено вкопец.

Брат Абдул скупил у Ибрама в голодные годы все его виноградники, и вышитые одеяла, и чадры, и подушки, все то, чем гордится татарский дом, что бережно прячется, как приданое, в чистый стеклянный шкаф.

Для нового быта характерно такое явление. Мулла, отправляющий свои религиозные службы, в то же время занимается извозом, как обыкновенный извозчик.

Иронически рассказывают, что напрасно он скликается с минарета свою паству. Все равно никто не идет.

То, что в Крыму необходимо помочь, что составляет его большое место и в то же время важнейшее средство исцеления, — это кооперация. Кооперативы, по общему признанию, из рук вон плохи. Население настолько мало уважает кооперацию, видя дурные примеры, что относится к ней, как и обычному частному торговому предприятию —

<sup>1</sup> Известия. 15 ноября 1923 г.

с недоверием и опаской. Кооператив старается обслужить не местное население, а исключительно состоятельных приезжих. Здесь спекулируют на червонцах, не держат нужных предметов первой необходимости, и о кооперации крымчак-татарин часто говорит с раздражением и пренебрежением.

Во всяком случае, расслоение крестьянской массы идет полным ходом. Союзниками выздоравливающих низов являются кооперация и школа. Татарская школа, несмотря на исключительно скромный бюджет Наркомпроса, во всех отношениях впереди местной русской, которая подчас стоит подолгу пустая, с выбитыми стеклами. Следует отметить, что крымская школа получила на днях от центра довольно крупную кредитовку и сумеет в ближайшем будущем обслужить население, которое относится к ней с ревнивой любовью.

Публикация Б. С. Мягова

### Неизвестные переводы

#### ИЗ ПОВЕСТИ ЖЮЛЯ РОМЭНА «ОБОРМОТЫ»

<1>

Знай, благородный друг, что в среду, утром росным  
Крылатым способом, движением колесным  
Ты в облюбованный направишься притон,  
Где — артиллерия окраинных равнин —  
Молочник утренний гремит порожней жестью;  
Я, кофий выкушав, по гулкому предметью  
Нажимом легких ног машину поведу  
И старца на пути маститого найду,  
Чья жесткая метла — Нептуново орудье —  
Навозом скакунов метается в безлюдье.  
Туда поеду я, высоких полон чувств,  
В Сквер зеленеющий Ремесел и Искусств,  
Где профиль мужеский, блеснув улыбкой жаркой,  
Утешит жизнь мою, надрезанную Паркой!  
Прочь, бисер нежных слов! Любезность — ерунда;  
Сквер. Пятый час утра. Запомним: середка!

<2>

...Я в славном городе, где Ньевра берег моет.  
Из телеграфных рун я узнаю: тифоид  
У дядюшки Проспера моего.  
Я не нарадуюсь на капитал его!..  
Ну, как же он сойдет к бесплотным и незримым,  
Непровожаемый племянником любимым?!  
Срываюсь... тороплюсь.. без ног спешу в Невер!  
Увы! Чудовищной превратности пример:  
Здоровье дядино — сей дряхлый жезл — окрепло.  
Событье грустное ложится тучей пепла.  
Но живы замыслы возвышенных побед!  
Еще нам предстоит, друзья, велосипед!  
Баранта, номер три, — я пью неверский морок.  
Готовься к поезду, Бенен, в четыре сорок.  
Я в девять на перрон приду без десяти —  
С платком и шляпою душа к тебе лети!

#### ИЗ ПЬЕСЫ Э. СИНКЛЕРА «ТЮРЕМНЫЕ СОЛОВУШКИ»

<1>

...В камере бетонной  
Соловей плененный  
Цокает и щелкает — товарищей зовет,  
Не по-воробьиному,  
А по-соловьиному —  
Толстому тюремщику баню задает.  
Соловьи тюремные  
Прочищают горло.  
Песня беззаконная тюремщикам страшна.  
Эй, законодатели,  
И друзья-предатели,  
Соловьи тюремные заплатят вам сполна!

<2>

...Билли, Билли, Билли, Билли,  
Видно, мало тебя били —  
Ты не мог бы как-нибудь  
В Миссисипи утонуть?

Билли, Билли, Билли, Билли,  
Мы у Дарвина учили,  
Что какой-то переход  
К обезьяне нас ведет.  
Уж не ты ли, кроме шуток,  
Билли, этот промежуток?  
Бессознательный ты, Билли!  
Видно, мало тебя били!

В Сан-Франциско и в Чикаго и в лесную глушь,  
Всюду клином вбился Билли, всюду порет чушь.  
Затесался на заводы, в рудники прополз,—  
С виду он не очень тонок и не очень толст.  
А когда в него вселится красноречья бес,  
За «святую дружбу классов» на стену полез...  
Скажет: «Сам себе рабочий наизлейший враг» —  
Как услышишь: вянут уши, чешется кулак.

Билли, Билли, Билли, Билли,  
Видно, мало тебя били —  
Ты не мог бы как-нибудь  
В Миссисипи утонуть?

В голове у Билли тряпки и на шее груз,  
На спине у Билли ездит желтый профсоюз.  
Он газетную читает и смакует дрянь...  
Билли! Вот идет твой пастор: поскорее встань!  
Нам голубчик не попутчик: сильно нам претит  
Лимонад речей церковных и святой бисквит.  
Нашу твердость, нашу спайку — круговой бокал —  
На бесплатную фуфайку Билли променял.  
Не войдет бессмертный Билли в райский вертоград,  
Но пощечины у Билли на щеках горят.

### ИЗ ПОВЕСТИ ДЖИМА ТУЛЛИ «АВТОБИОГРАФИЯ БРОДЯГИ»

Там, где растут папиросы у лимонадных ключей,  
Там, где горы картофеля — в силе и славе своей,

Где ветчина малосольная, вкусная — ох! — ветчина,  
Ломти, как флаги развесила, салом окаймлена;  
Там, где отборные яйца дружно на ветках дрожат,  
И под ногами румяные, свежие булки хрустят;

Там, где цыплята на вертеле, прыгают сами в обед,  
Лишь потому, что им нравится вкусный поджаристый цвет;  
Там, где коровы голландские масло сбивают хвостом,  
И молоком неразбавленным сами торгуют потом;

Там, где горячие завтраки прямо на ветках растут,  
Сами себя согревают, сами себя подают;  
Где ровно в одиннадцать вечера туча плывет пирогом,  
В тесте печеные яблоки падают крупным дождем;

Там у себя на балконе Иов блаженствует Слим,  
Все его жены ласкаются, нежно беседуют с ним.  
Рельсовый путь загибается, слышится поезд гул.  
Только вагону последнему хитро Иов подмигнул.

Был он бродяга наследственный — в воздух и ветер  
влюблен.  
Больше теперь, чем у пастора, у Слима у нашего жен.  
Все влюблены они в Слима; с ними не знает забот  
Старый картежник и пьяница, бывший гуляка и мот.

Домик его оглашается пеньем дроздов и щеглят.  
И молодые красавицы в фонтане резвятся, визжат...  
Там папиросы со спичками вместе растут средь листвы.  
Там горы картофеля к небу высоко подъявляют главы.

*Публикация П. Нерлера.*

---

Мандельштам свободно владел французским и немецким языками, знал итальянский, кроме того, учил испанский и древнеармянский. Еще Иннокентий Анненский советовал ему попробовать себя в переводе Стефана Малларме.

Но Мандельштам никогда не относил себя к числу профессиональных переводчиков, мало того — он всегда отмежевывался от такого литературного труда. И вместе с тем не мог от него уйти: чаще всего по необходимости, но нередко и соп атоге — по любви, как, например, в случае со старофранцузским эпосом, сонетами Петрарки, «Федрой» Расина, ямбами О. Барбье, поэмой Важа Пшавела. Но и те переводы Мандельштама, что он выполнил без внутреннего побуждения, по заказу, представляют бесспорный интерес.

О принадлежности Осипу Мандельштаму стихотворных переводов, впервые под его именем публикуемых в настоящем издании, свидетельствуют... гонорарные ведомости ленинградского отделения Госиздата (ЛГАЛИ, ф. 2913).

Два стихотворных отрывка из повести «Обормоты» (Л., ГИЗ, 1925, с. 36 и 41) французского писателя, поэта и драматурга, вождя группы

<А. СЕРАФИМОВИЧ. «ГОРОД В СТЕПИ»>

«Город в степи» Серафимовича своей тематикой касается одного из важнейших этапов русского капитализма, а именно — 90-х годов. Финансовое грюндерство эпохи Витте, бурный рост железнодорожной сети, хищническое первоначальное накопление на фоне нищей деревни, лязг капиталистического железа под либеральный говорок интеллигенции, стихийное брожение рабочей массы в шорах «экономических требований» и т. п. Однако роман Серафимовича написан так, что, лишь устранив из него всех «действующих лиц» и все «литературные красоты» Серафимовича, можно разобраться — по фактическому остатку — в движущих силах эпохи.

Серафимович в своей книге культивирует ползучую прозу, облюбованную всей плеядой бытописателей пятого года. Неуклюжим посредником между <ними> и русским модернизмом был Л. Андреев.

Инженеры и рабочие у Серафимовича в равной степени погружены в облако липкой скуки, и вместо могучих, хотя бы и безобразных форм нарождающейся расколотовой противоречиями жизни мы видим у Серафимовича канительную и похотливо зевающую бытовщишку. Нельзя пове-

«Аббатство» («унанимистов») Жюля Ромэна (1885—1972) как отдельные произведения публикуются впервые. Мандельштам перевел эту повесть целиком, так же как и его пьесу в стихах «Кромдейр Старый» (М.— Пг., ГИЗ, 1923); к обеим книгам он написал предисловия (см. также его статью «Новые произведения Жюля Ромэна» в вечернем выпуске «Красной газеты» 17 января 1925 года). Два других перевода, строго говоря, относятся к поэзии, языком которой Осип Эмильевич не владел, — английской. По-видимому, он переводил с подстрочника, подготовленного женой, не имевшей затруднений с английским. (Чуть раньше, в 1924 году, Мандельштам напечатал в детских журналах «Воробей» и «Новый Робинзон» два вольных перевода детских стихотворений Роберта Льюиса Стивенсона.)

Эптон Билл Синклер (1878—1968) — американский писатель-социалист, много писавший о трагической судьбе пролетариев. Чуть раньше Мандельштам перевел его драматическое произведение «Машина» (М.— Пг., ГИЗ, 1923). Ему же (без указания авторства) принадлежат и стихотворные фрагменты в пьесе Э. Синклера «Тюремные солонюшки» (Пер. с англ. В. А. Азова и А. Н. Горлина. Л., ГИЗ, 1925, с. 27 и 70—71).

Гораздо менее известен американский прозаик Джим Тулли (или Талли) (1891—1947). Мандельштам перевел стихотворные отрывки из IV главы его повести «Автобиография бродяги», посвященной Роберту Юзу и Чарли Чаплину (Пер. с англ. Э. Паттерсон под ред. А. Н. Горлина. М.— Л., ГИЗ, 1926, с. 39).

речь, чтобы в рабочем железнодорожном поселке в южной русской степи — или где бы то ни было — люди только и делали, что крепко ругались, духовно харкали и плевались, надрывно исповедовались, цинично выворачивали себя наизнанку — или же, будучи трезвыми, истекали по существу пьяными, мутными слезами.

Всё это, конечно, лишь условность литературного ваянья. Лично Серафимович тут ни в чем не повинен. Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать о жизни», но не имеет на своей палитре глубоких контрастирующих красок, а главное — лишен чутья к закону, по которому трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира, — он дает «полуфабрикат» ужаса или косности — их сырье, вызывающее у нас гадливое чувство и больше известное в благожелательной критике под ласковой кличкой «быта».

Серафимович пишет:

... прошел в столовую и поцеловал руку жены.

— Ну, я иду.

Та печально смотрела в окна.

— Какая тоска!

Польнов вышел. Всё было мутно, точно стерлись очертания и пропали краски.

Мне кажется, простой белый лист чистой бумаги несравненно выразительнее этих строк [ , в которых я нахожу не что иное, как сплошной плеоназм, означающий: я знаю лишь то, что я ничего не знаю — ни о людях, ни о красках, ни о тоске, — и умею сказать лишь то, что я ничего не умею ] .

Мне кажется, что всякому позволено отказаться от поисков марксистского критерия в книге, не содержащей в себе даже намека на исторический кругозор.

Работа у Серафимовича кондовая, по-своему добротная. Он деловито ставит беллетристический сруб. Но краше в гроб кладут слово, чем оно бывает на казенной службе. Какие-то тени пьют, едят, чешутся, умничают, дерутся... Но никто не поверит, что стоило рожать, умирать, любить, носить имя, трудиться, стяжать, ненавидеть и позориться — каким бы то ни было людям, для того чтобы наплодил свою нежить, с сигнатурками имен и фамилий, солидный беллетрист.

Серафимович литературно реакционен, потому что он солиден. Прошу не смешивать солидность с серьезностью. В серьезности я вижу залог уважения к миру, в ней предчувствие возмужалости и полноты знания. Иное дело — солидность. Так полагается. Ешь и думай. Читай и думай. И благодари. Помни, что каждый кусок, который ты глоташь, — литература.

Напрасно думают, что это нужно массовому читателю — рабочим и крестьянам. Сам читатель так вовсе не «полагал». За него так положили в салонах — полужнания и полумысли. И пишут бытовые полотна у него на спине. Станковая живопись. Вот он и мнет, и ломит шапку, как мастеровой человек в день получки, в конторе кондовой русской беллетристики. Ей же нет в мире равной по тому, как она в грош не ставит читательский труд и терпенье... У нее своя забота! Какое величие! [Как подступиться к державному бытописателю, который неизвестно кем и для чего заведен и неизвестно когда выдохнется! Священная мельница! Буддийский верблюд!] Отдаете ли вы себе отчет в ассортименте принудительных образов, которые прут из жерла реалистической смертушки-литературы?

«Бытовик» такая же нелепость для умственного слуха моего, как «жизневик» или «смертовоз». Мы говорим о реализме... Что взято у Золя? Ничего. Даже за кисти гроба его не подержались... Дух пытливости, дух исследования, гений лаборатории нам чужд.

У нас щегольство: навалиться на читателя, зашить его как следует, обдать его перегаром так называемой жизни.

Я не хочу сказать, чтобы «грубое корявое письмо» Серафимовича коробило мой нежный слух (он у меня далеко не такой нежный — принимает же он и Маяковского, и Фурманова, и Шекспира, и Рабле), но *беллетристические* мозоли Серафимовича (продукт подражания очень плохим образцам) еще не дают ему права на литературную непогрешимость. Между тем мы имеем сейчас до ужаса не критическое издание Серафимовича. Его волокут в классики, то есть в полосу отчуждения и священного отупения. [Кричат, что с лица, дескать, нам не воду пить. Тонкими штуч-

ками-де ему некогда было заниматься. Он пострадавший от буржуазной критики. Сейчас пришел его денек! А потому жарь и валяй. Разухабистая канонизация!]

Описания природы (знаменитая «степь») у Серафимовича размазаны патокой, чтоб на нее «садились» разговоры. Служебная функция этой школьной (точнее, гимназической) 1905—1908 гг.) риторики достаточно ясна.

Лучше прочего автору удаются жанровые картинки, например, рабочее утро в поселке и пр., [но они никогда не поднимаются выше самого заурядного холста с выставками передвижников].

Сам Серафимович, видимо, не подозревает, что в своем раннем произведении он выступает носителем мрачной литературной биологии реакционнейших на перешейке двух революций годов, когда бытовики, втайне завидуя широкому культурному горизонту символистов, созидали свой канон «мистики для широкого употребления», искали в жизни лицо зверя и, сами того не замечая, писали «по-свински бытовые рассказы» в тональности реквиема или панихидного воя.

Тем более странно, что книга Серафимовича издается в 31-м году издательством «Федерация» с неслыханной хвалебной и рекламирующей аппаратурой. Тут и большой исторический очерк Нерадова (впрочем, весьма дельный там, где говорится не о Серафимовиче), и целые груды приложений: интервью с автором, выписки из Фатова, Лежнева и других авторитетов.

Повторять всю несусветную чушь этих беззубых похвал, приложенных к самой книге, я считаю излишним.

Но если переиздание книги Серафимовича (для сравнительного изучения этого жанра вполне хватило бы и старых экземпляров) было ошибкой, то переиздание ее в таком виде — в дни массовой литучебы и призыва ударников в литературу — я квалифицирую как преступление.

#### Рецензия Осипа Мандельштама на книгу Серафимовича: датировка и мотивы написания

Вопрос, когда и по каким причинам была написана данная рецензия, составляет подлинную загадку, не имеющую пока однозначного и вполне обоснованного решения.

На первой странице автографа сверху, крупно, почерком Н. Я. Мандельштам написано: «Воронеж». В соответствии с этим и первая пуб-

ликация известного фрагмента рецензии («Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать о жизни», но не имеет на своей палитре...» и далее до конца абзаца) в составе подборки «О. Мандельштам. Записные книжки. Заметки» дана с подзаголовком: «Записи 1935—1936 годов» («Вопросы литературы». 1968. № 4. С. 204).

И все же, когда О. Мандельштам пишет: «Тем более странно, что книга Серафимовича издается в 31-м году...», — возникает явное впечатление, что это написано вскоре после переиздания «Города в степи», а не спустя пять лет. Еще одна косвенная примета времени: «Его волокут в классики...» Так можно было сказать в начале 30-х, а не в середине, когда не столь уж далекая от Воронежа станция Усть-Медведицкая, где прошли гимназические годы романиста, прочно носила новое имя: город Серафимович. Слова из последней фразы рецензии: «... в дни массовой литучебы и призыва ударников в литературу...» также обращают нас к началу, а не к середине 30-х годов (вспомним, что журнал этого движения «Литературная учеба» начал выходить в 1930 году).

О. Мандельштам мог непосредственно наблюдать и массовую литучебу, и призыв ударников в литературу в 1929—1930 годы, работая в газете «Московский комсомолец». Этот опыт оставил сильное впечатление. Яростная филиппика не только против казенной литературы, но и против казенной редакционной работы звучит в «Четвертой прозе», на страницах которой появляется отвратительная фигура «московского редактора-гробовщика». Вообще этот газетно-гробовой финал 3-й главы («гробовщик», «глазетовые гробы», «саван газетный») очень близок фразе из рецензии на Серафимовича: «...краше в гроб кладут слово, чем оно бывает на казенной службе» и дальше, где говорится о «реалистической смертушке-литературе». Весь протест Мандельштама-рецензента против «солидности» и «принудительности» литературы, против «конторы кондовой русской беллетристики» очень напоминает «Четвертую прозу», писавшуюся, как мы знаем, в 1930 году. Это сближение не только дает еще один довод в пользу датировки рецензии началом 30-х годов, но и позволяет предположить, что на ее страницах Мандельштам сравнительно спокойно, объективно, логически обоснованно высказал те же мысли о советской литературе, о читателе, о слове, о жизни, которые немногим раньше так горячечно-резко были выкрикнуты им в «Четвертой прозе». Мандельштам-критик в своих газетных и журнальных статьях всегда стремился к позитивному воздействию на текущий литературный процесс. Кажется, на протяжении всех 20-х годов его не покидало ощущение, будто такое воздействие еще возможно. По-видимому, стремление сравнительно свободно высказаться против «протаскивания в классики» и было тем внутренним мотивом, который побудил поэта взяться за рецензирование Серафимовича. Судя по тому, как явно стремится О. Мандельштам не оторваться от критической терминологии и аргументации, принятой у нас в то время, можно предположить, что он рассчитывал на публикацию рецензии. Маловероятно, чтобы такой расчет — даже в порядке иллюзорной переоценки своих возможностей — мог возникнуть у ссыльного поэта в 1936 году.

Справедливости ради заметим, что Мандельштам-рецензент не проявляет ни снобизма, ни придирчивости. «Город в степи» — роман отменно неудачный, имевший плохую прессу еще в 1912 году, когда его впервые печатал журнал «Современный мир» (№ 1 — 5). «В газетах ругают...», — грустно констатировал тогда Серафимович в письме к брату (см.: Собр. соч. — М.: Гослитиздат, 1959. — Т. 7. С. 467). Еще раньше, в период работы над романом, он самокритично жаловался: «Всё пишу свою повесть. Милый, какая она хорбшая, интересная была в голове, и какая никчем-

ная, деланная на бумаге. И всё-таки пишу, как вол, который в хомуте и тянет и уже втянулся в хомут. Не хватает меня на большую вещь» (там же, с. 437).

Совершенно ясно, что Мандельштама возмутил не столько сам роман, сколько резко выявившаяся при его переиздании тенденция подменить художественные критерии ложно понимаемыми общественно-политическими, а точнее, пропагандистско-демагогическими установками, которые так непоправимо исказили весь облик и ход развития нашей литературы. Может быть, в начале 30-х годов поэту казалось, что с этой тенденцией еще можно бороться?

Как же произошло смещение датировки? Есть сведения, что в 1936 году по дороге в родные казацьи края романист останавливался в Воронеже. Надежда Яковлевна вспоминала и говорила, что рецензия была написана в 1936 году именно в связи с приездом Серафимовича в Воронеж. Можно предположить такой ход событий: в 1936-м году ввиду предстоящего приезда Серафимовича Мандельштаму предлагают написать приветственную статью для одного из местных изданий; поэт вспоминает, что когда-то раньше уже рецензировал роман Серафимовича и что рецензия эта осталась неопубликованной — спустя несколько лет вполне мог забыться резкий тон рецензии, неподобающий для разговора о живом классике; Надежда Яковлевна отыскивает рукопись в Москве и привозит ее в Воронеж — так и откладывается в ее памяти и на первой странице автографа: «Воронеж». Повторим, однако, что все эти рассуждения обоснованы лишь логикой и не имеют пока документального подтверждения.

Рукопись рецензии — рабочий черновик, очень трудно читаемый. В мандельштамовском архиве рядом хранится другая, написанная почерком Надежды Яковлевны, — это попытка прочтения, с многочисленными пропусками в тех местах, где не удалось разобрать беглую скоропись и сложную правку автографа.

Эту трудную работу проделал А. А. Морозов. Он прочел текст, восстановил ход авторской мысли и тем самым сделал возможной публикацию данной рецензии.

*С. Василенко, Ю. Фрейдин*

## Статья

### <<ЧЕХОВ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА...>>

Чехов. Действующие лица «Дяди Вани»: Серебряков, Александр Владимирович, отставной профессор. Елена Андреевна, его жена, 27 лет. Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака. Войницкая, Марья Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора. Войницкий, Иван Петрович, ее сын. Астров, Михаил Львович, врач. Телегин, Илья Ильич, обедневший помещик. Марина, старая няня. Работник.

Чтобы понять внутренние отношения этих действующих лиц, как системы, нужно чеховский список наизусть выучить, зазубрить. Какая невыразительная и тусклая

головоломка. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник? Определите-ка свойство или родство Войницкого, сына вдовы тайного советника, матери первой жены профессора, с Софьей Александровной — дочкой профессора от первого брака? Для того, чтобы установить, что кто-то кому-то приходится дядей, надо выучить целую табличку. Мне, например, легче понять воронкообразный чертеж дантовской Комедии, с ее кругами, маршрутами и сферической астрономией, чем эту мелко-паспортную галиматью.

Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями.

Чехов забирает сачком пробу из человеческой «тины», которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разбегаться. Вот и всё. Выдать им билеты — например «трех сестрам», и пьеса кончится.

Возьмите список действующих лиц хотя бы у Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки: *personagi*: Фабрицио — старик, горожанин; Евгения — племянница Фабриция; Фламиния, племянница Фабриция — вдова; Фульгенций — горожанин, влюбленный в Евгению; Клоринда, двоюродная сестра Фульгенция; Роберт — дворянин и т. д. [Тут ясно, что люди соединились для] Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке.

Но Чехов и упругость — понятия несовместимые. [Чехов калечит людей.]

В античном мифе владыка афинский Эак, когда весь народ его вымер от заразы, от порчи воздуха — из муравьев людей понаделал. А и хорош же у нас Чехов: люди у него муравьями оборачиваются.

На днях я пришел в «Воронежский Городской Театр» к третьему действию «Вишневого сада». Актеры гримировались и отдыхали в уборной. Ко мне подошла старая театральная девочка в черном платье с белой косыночкой. То была Варя. Кулак-Лопухин, только что купивший вишневый сад, еще усиливался сдерживать в чертах лица выражение хитрой, но чувствительной коммерческой шуки. На клетчатых своих коленках он тихонько укачивал [старого] серебролунного думного боярина из пьесы Алексея

Тодстого, из той самой, которую написал полицейский пристав в сотрудничестве с Аполлоном Бельведерским, — на этот раз мой Мстиславский был в долгополом «расейском» сюртуке: помещик по фамилии Пищик.

В общем, развалины пьесы, ее, так сказать, тыл, были неплохи. [Чувствовалось лето, хотя и помятое.] [Чувствовалась погода, хотя и помятая.] Поиграв Чехова, актеры вышли как бы простуженные и немного виноватые.

Между театром и так называемой жизнью у Чехова соотношение простуды к здоровью.

[За несколько дней <до этого> театру был большой влёт: его изругала областная газета за то, что «Вишневый сад» был сыгран без настроения и обращен в удалую комедию.

Я испугался певицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, ищущего места по объявлению в «Петербургском Листке». В то время, как другие актеры всей осанкой своей говорили: «не мне, а имени моему», — [в то время, как все они двигались, как недостойные иереи,] словно ожидая, что кто-нибудь назовет их «ваше правдоподобие» и чмокнет в ручку, — один Епиходов знал свое место.

Шумно вошла певица, игравшая в пьесе главную барыню. Номер ее обуви был слишком велик и в точности передавался голосом. У Епиходова дрожали усики.

[Выходец из суворинского Малого Театра, этот комический актер двадцать лет не видел родного города. «Петербургский листок». Место по объявлениям. Кружка пива. Бутерброд с бужениной. Райские птицы галстуков в галантерейной лавке.]

<1935 г.>

Непосредственным поводом, побудившим О. Мандельштама обратиться к чеховской теме, явилась постановка «Вишневого сада» в воронежском «Большом советском театре», где поэт тогда работал в литературной части. Как обнаружил С. В. Василенко, в местной газете «Коммуна» от 10 февраля 1935 года была опубликована рецензия А. Ярцева, в которой эта постановка расценивалась как «сценическая неудача». О. Мандельштам упоминает этот газетный разнос: «За несколько дней <до этого> театру был большой влёт: его изругала областная газета...». Так появляется достаточно веское основание датировать статью февралем 1935 года.

В статье отношение к чеховской драматургии высказано очень определенно. По-видимому, Мандельштаму, сравнивавшему чеховские пьесы с дантовской «Божественной Комедией» и с комедиями Карло Гольдони, поэтика Чехова-драматурга действительно представлялась вялой и безжизненной.

В истории литературы Чехов занимает свое неоспоримое место. Но Мандельштам подходил к нему не как историк, а как поэт, для которого и Данте, и Гольдони, и Чехов были современниками, и сам он относился к ним как современник. И хотя нам такой подход может показаться неверным, мы должны сохранить за поэтом право на собственную субъективную оценку, ибо без нее нет и самой поэзии.

Статья о Чехове представляет собой незавершенный текст, написанный и правленный, по-видимому, в один прием, под диктовку автора его женой, Н. Я. Мандельштам. Несколько абзацев вычеркнуты — они приводятся в квадратных скобках. Начало первого из вычеркнутых абзацев требует конъектуры — она приведена в угловых скобках. В рукописном тексте имеются и описки — например, написание «Лопатин» вместо «Лопахин», — они исправлены.

Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала, что, записывая этот текст под диктовку Осипа Эмильевича, она по обыкновению подшучивала над ним («дразнилась», «измывалась») и говорила, что «все равно не пройдет номер», т. е. что статью нигде не примут и денег за нее не заплатят. Тем не менее Мандельштам продолжал диктовать, а затем и правил надиктованное: конец фразы о «человеческой тине» вписан автором собственноручно. Последний абзац — конспективное изложение замысла, выходящего за рамки «театральной рецензии» и близкого скорее к прозе-воспоминанию («Шум времени», «Египетская марка»). С. Б. Рудаков в письмах из Воронежа отмечал, что О. Мандельштам был склонен смотреть на свою тогдашнюю прозаическую поденщину (рецензии, тексты радиопередач, очерки), как на подступы к большой прозе.

Набросок о Чехове нуждается в некоторых комментариях. Так, пьеса Карло Гольдони, список действующих лиц которой приводит О. Мандельштам, — это «I'Innamorati» — «Влюбленные». (Любезно сообщено Л. С. Осоватом, который отыскал перевод этой пьесы, сделанный Дживилеговым и изданный в 1949 году для театров, — там иначе звучат имена персонажей. Возможно, О. Мандельштам переводил этот список действующих лиц с подлинника.) Воронежский театр не ставил «Влюбленных», там шла пьеса «Слуга двух господ».

Упомянутая «серебрянолунного думного боярина», Мандельштам имеет в виду пьесу А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», поставленную незадолго до «Вишневого сада». Актер, игравший в «Вишневом саде» роль Пищика, исполнял в пьесе А. Толстого роль боярина Мстиславского.

Автора шутки в духе народническо-рапповской критики (о полицейском приставе и Аполлоне Бельведерском) нам разыскать не удалось.

Набросок статьи о Чехове впервые был опубликован в «Вестнике РСХД», 1976, № 118, затем в журнале «Russian Literature», 1977, Vol. V, Iss. 2. Здесь текст наброска воспроизводится более полно, с исправлением вкравшихся раньше неточностей и опечаток.

*Публикация и послесловие Ю. Фрейдина*

## ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

ЛАЗАРЬ РОЗЕНТАЛЬ<sup>1</sup>

МАНДЕЛЬШТАМ

Знаменитый коридор Петербургского университета тянулся на добрую треть версты. В перерывах между лекциями, когда толпы студентов подымали облако пыли, из одного его конца не был виден другой. Стены были испещрены объявлениями бесчисленных землячеств, которые свидетельствовали о необъятности Российской империи; извещения всевозможных кружков убеждали заниматься чем угодно, только не политикой. Среди этого моря листов один, приоткрывшийся на двери классического семинара, сообщал о появлении нового журнала стихов «Гиперборей». Петербургский университет кануна мировой войны возвращался к старинным традициям; наряду с науками в нем находили себе уют музы. На германо-романском отделении историко-филологического факультета, строго сохранявшем воспоминания об Александре Веселовском, обучались не только юные поэты, но и почтенные сотруд-

<sup>1</sup> Розенталь Лазарь Владимирович (1894—1990) — учился одновременно с Мандельштамом и в Тенишевском училище, и в Санкт-Петербургском университете. Специалист по истории искусств. До выхода на пенсию в 1954 году работал в Нижегородском художественном музее, в Музее фарфора в Кускове, в Третьяковской галерее, а также в ВОКСе. Кроме того, вел курс истории искусств в ГИТИСе, в текстильном институте.

Публикуемые воспоминания Л. В. Розенталя — фрагменты из его мемуарных книг. «Мандельштам» — глава из машинописной книги «Свидетельские показания любителя стихов начала XX века», датированной 1931 годом, а «Бородатый Мандельштам» — из другой рукописи («Непримечательные древности», 1969). Первую из упомянутых книг он в свое время подарил М. С. Лесману (см.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М. 1989. С. 314).



ники авторитетнейшего журнала чистого искусства «Аполлона». На заседаниях германо-романского кружка большие и малые мастера поэтического цеха читали свои новые, еще нигде не напечатанные стихи.

Я помню вечерние заседания кружка, университетский коридор, безлюдный и чисто выметенный, скупо освещенный рядом редких лампочек, тянувшимся вдаль, уютную четвертую аудиторию, топорную фигуру профессора Петрова. Он вечно торопился на пригородный поезд к себе на зимнюю дачу, где среди замерзших чухонских болот изучал испанские комедии XVI века и арабскую любовную лирику. Вокруг профессора вились студенты, демонстрирующие эрудитность и изысканность художественных вкусов в противовес традиционному литературному невежеству радикальной российской интеллигенции. Вдоль стенок теснились робкие фигуры более скромных любителей литературы вообще и поэзии в особенности. Подобно мне, они боялись подойти ближе к тем, кто уже стал знаменитостью или станет таковой и на следующий день. Выступали поэты с новыми стихами. Они читали изумительно хорошо, как можно читать лишь только что написанные стихи, не утратив еще огня творческого порыва, их создавшего, и лишь в небольшой аудитории, насыщенной поэтическими интересами.

В те годы поэзия уже давно для меня перестала быть суррогатом жизненных переживаний. Я отучался искать в ней раскрытия смысла бытия. Понемногу и обязательные прежде требования, чтобы стихи отвечали моему внутреннему строю, отпадали. Я привыкал ценить стихи как таковые, дегустировать их мастерство. Творчество акмеистов, которые господствовали тогда среди университетской молодежи и явно верховодили в «Гиперборее», пришлось как раз по вкусу. Правда, было принято критиковать их, попрекать рационалистичностью, эклектизмом, бездушным мастерством, эпигонством. Но их все-таки любили. Акмеисты умели писать стихи, умели блестяще их читать. Лучше всех читал стихи Осип Мандельштам.

Это был егозливый человек в кургузом пиджачке, со странными суматошливыми манерами. Он не ходил, а больше бегал, слегка подпрыгивая, высоко вскидывая голову, встряхивая хохолком. Он был тщедушен, неврастеничен, нарочит во всем — в манере говорить, в движениях, в интонациях голоса. И в то же время он любил демонстрировать свое пристрастие к торжественному, величавому,

прочному — к оде, классическому театру, к готической архитектуре. Его манера читать стихи не могла не казаться вначале смешной, но понемногу слушатель привыкал к ней, поддаваясь силе убежденности поэта в крепости своих стихов, заражаясь его одержимостью ими:

Над желтизной правительственных зданий  
Кружилась долго мутная метель...

Это была акмеистическая поэзия, дававшая имена реальным вещам, тому, что было непосредственно созерцаемо, осязаемо, что окружало нас. Стоило выйти из маленькой аудитории, пройти пустынным университетским коридором, спуститься вниз, и вот уже набережная Невы перед нами во всем зимнем величии столичного классицизма:

На площади Сената — вал сугроба,  
Дымок костра и холодок штыка...

Это были «Петербургские строфы», стихи о городе, в котором мы выросли, с которым сжились навсегда. Мы игнорировали его сегодняшний день; в его современном облике достойным восхищения мы признавали лишь блеск электрических фонарей и грохот трамваев. Людей не замечали и видели лишь тот город, который изображали иллюстрации путеводителя Курбатова по Петербургу или «История архитектуры» Грабаря, и насыщали его воспоминаниями о былых временах. Именно этот, «наш» Петербург и воспроизвел в своих стихах Мандельштам. Мандельштаму были чужды и углубленный лирический анализ мучительных исканий мятущегося сознания, и задачи раскрытия истинного, скрытого облика мира; он обращался лишь к тому, что реально существует. И при этом к реальности не во всей ее полноте, а лишь эстетизированной и только в пластическом аспекте. Путь к полному восприятию действительности для моего поколения, стремившегося уйти из плена непосильно трудного и неясного символического миропонимания, был долог. На первых порах мы были рады акмеистическим стихам уже по одному тому, что они давали весьма убедительные изображения непосредственно воспринимаемого, зримого. Мандельштам сочинял оды в честь «Айя-Софии», Нотр-Дам, Адмиралтейства. Эти оды имели успех. Пластические искусства были в моде; та же публика, которая слушала стихи акмеистов, ходила на вернисажи возрожденного «Мира искусства» и любо-

валась тем, как «ретроспективные мечтатели» воспроизводили реальность прошлых эпох. Мандельштам был «мирискусником» в поэзии. «Мирискусничество» не просто отрицало современность, а предполагало снисходительно-ироническое, с особым оттенком любования отношение к мещанству наших дней как к своего рода экзотике. В этом направлении изображения чаепитий и трактиров у Сапунова аналогичны замечательнейшие стихи Мандельштама о кинематографе, которые мы так любили.

«Мирискусничество» означало особую пристрастность к литературным реминисценциям. Мы немного умели по-настоящему любить, но легко могли перевоплощаться. Мы чувствовали себя современниками не только ампириного Петербурга, но какой угодно эпохи, овеванной традициями искусства или поэзии:

Я не слыхал рассказов Оссиана,  
Не пробовал старинного вина,—  
Зачем же мне мерещится поляна,  
Шотландии кровавая луна?

Умение Мандельштама переживать прошлое как настоящее, чужое как свое, воображаемое как действительное, было исключительно. Он был вправе утверждать:

Я получил блаженное наследство —  
Чужих певцов блуждающие сны.

Он умел в небольшом стихотворении воплотить целый поэтический мир. И мы с особым наслаждением гурманствовали, вспоминая «Домби и сына»:

У Чарльза Диккенса спросите,  
Что было в Лондоне тогда:  
Контора Домби в старом Сити  
И Темзы желтая вода.

По существу от подлинного романа Диккенса здесь ничего не было; внутренняя сущность столь любимого английского писателя отнюдь не была уловлена. Но внешний облик его героев, столь знакомый по старинным наивным политипажам детских книжек, воскресал перед нами вновь с необычайной конкретностью:

И клетчатые панталоны,  
Рыдая, обнимает дочь.

Эти «клетчатые панталоны», эта столь редкая форма четырехстопного ямба с ударениями на втором и восьмом

словах при цезуре после пятого слога вызывали особое восхищение. В одной детали, казалось, был показан весь стиль эпохи, вся диккенсовская Англия. И точно так же все обаяние поэзии Сафо, такой, как мы ее знали до переложениям Вячеслава Иванова, поэт сумел сконденсировать в одной строфе, сочиненной им среди грохота гражданской войны:

Бежит весна топтать луга Эллады,  
Обула Сафо пестрый сапожок,  
И молоточками куют цикады,  
Как в песенке поется, перстенок.  
Высокий дом построил плотник дюжий,  
На свадьбу всех передушили кур,  
И растянул сапожник неуклюжий  
На башмаки все пять воловьих шкур.

Подлинным же шедевром Мандельштама была его знаменитая «Федра»:

Я не увижу знаменитой «Федры»  
В старинном многоярусном театре,  
С прокобченной высокой галереи,  
При свете оплывающих свечей.

Посещая спектакли Александринского, также многоярусного театра, мы легко могли себе представить, как свечи в люстрах и бра увенчиваются не неподвижным светом электрических лампочек, а колеблющимся чадным пламенем. Повторяю, юноши из романо-германского кружка, внимавшие стихам акмеистов, были весьма просвещенными и изысканного вкуса. Через головы отцов они любили обращаться к дедам и прадедам: к Оссиану (хотя бы даже вымышленному), к Диккенсу, к Сафо, к Расину, наконец:

Спадают с плеч классические шали,  
Расплавленный страданьем крепнет голос,  
И достигает скорбного закала  
Негодваньем раскаленный слог...

Голос Мандельштама, этого хилого человечка, о чуде которого рассказывали анекдоты, достигал здесь необычайной мощности и певучести. Былое воскресало в мельчайших деталях:

Вновь шелестят истлевшие афиши,  
И слабо пахнет апельсиновой коркой.

Воображение поэта воссоздавало зрителя классического театра, подобного ему «мирискусника» XVII века, ко-

торый, тяготясь грубостью и ничтожеством современников, взывал к минувшим временам:

Когда бы грек увидел наши игры...

Эти стихи могли бы стать своего рода исповеданием веры «ретроспективных мечтателей». Мандельштам был великолепен, когда декламировал их. Он выпрямлялся, вскидывал кверху голову; стремясь казаться величественным, он был готов выскочить из своего пиджачка. Произносимые им слова приобретали значение самостоятельного звучания, независимо от их смысла. Мне всегда казалось, что это он сам о себе написал:

Кошмарный человек читает «Улалюм».

Самые простые слова звучали наподобие таинственно-го Улалюм, изобретенного Эдгаром По.

Влюбленный в свой стих, в найденное им сочетание слов и звуков, поэт делал ударной почти каждую гласную. Основные же ударные слоги он выделял тем, что произносил их как долгие, пытаясь дать некое подобие античной метрики. Подчеркивая отдельные согласные, он их удваивал, утраивал. Получалось:

Я не уввиинижу знаменнйиитой Фзээдры.

Пожалуй, именно в подобного рода транскрипции и следовало бы печатать стихи Мандельштама. Особенно те, которые поэт любовно уснащал великолепнейшими звуковыми повторами.

Как жжуравлиинный кллиинн в чужжине ррубейжжи

Жур, лин, лин, чуж, ру-ж-журчал, рокотал стих. По самой своей природе он требовал торжественной декламации, приличествующей оде. Мандельштам явно тяготел к оде. Это обязывало выйти из тесного круга образов искусства прошлого, обратиться к более общим темам до политических включительно.

«Политические» стихи Мандельштама были, по существу, лишь очередной вылазкой эстета в поисках новых мотивов. Все же они не могли не оказать своего воздействия на такого умеренного политика, каким я являлся. В них слышалось веяние эпохи. Их появление показалось мне событием. В начале 1916 года, отбивая такт рукой, бледный, взволнованный, словно сам изумляясь тому, что сочинил, Мандельштам читал свой «Зверинец». За хитро-

сплетением геральдических знаков скрывался призыв к прекращению войны. Поэт в теплице университетской аудитории заговорил о современности. Представлялось, что ему дано сказать нечто особенно значительное.

Увы, революция разлучила меня с этим поэтом так же, как и со всеми другими. Лишь изредка долетали отрывки стихов. В каком-то жалком альманахе, размноженном наперекор стихиям гражданской войны на литографском камне, был напечатан «Декабрист»<sup>1</sup>. В годы революции Мандельштам сумел найти нужные слова, чтобы в одном четверостишии воссоздать эпоху наполеоновских войн, величие ампира и натиск немецкого романтизма:

Шумели в первый раз германские дубы,  
Европа плакала в тенетах,  
Квадриги черные вставали на дыбы  
На триумфальных поворотах.

В последующие годы поэт обратился к античным мотивам. Он умело модернизировал величавость гомеровского эпоса:

И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  
Одиссей возвратился, пространством и временем  
полный.

Эти строки звучали как обещание. Обещание не было выполнено. За годы скитаний поэзия Мандельштама не приобрела ни опыта, ни мудрости, а лишь утратила прежнюю образность. Стихи обращались в поток слов, в сплошной «улалюм». В начале эпохи нэпа Мандельштам читал стихи в Доме Герцена. В Москве он был чужим. В его интонациях отсутствовала прежняя уверенность. Переводы старофранцузского эпоса и дюамелевой оды были не нужны и неинтересны. «Мирискуснику» оставалась лишь реставрация собственного прошлого. Он написал книжку прозы «Шум времени», где каждое почти слово не только о его, но и моем детстве. Он снова сочинял «Петербургские строфы», но в них изображена не ампиричная столица, а реальный город, чьи будни стали после революции предметом ретроспективных мечтаний. В годы нэпа, навещая Петербург, я снова видел, как на Лебяжьей канавке стояли лодки с грудами горшков.

<sup>1</sup> Вероятно, имеется в виду сборник: Исход. Альманах I-й. [Пенза]: Издание художественного клуба, 1918 г., с литографированными иллюстрациями на грубой серой бумаге.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,  
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Возвращаясь на родину, нельзя было не поддаться  
воспоминаниям о милых мелочах исчезнувшего быта:

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,  
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.  
И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,  
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.

И тот мещанский облик города, который мы прежде  
старались не замечать, ныне стал предметом любования:

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,  
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая  
зима!

### БОРОДАТЫЙ МАНДЕЛЬШТАМ

В тот свой приезд в Ленинград я смотрел возобновленную мейерхольдовскую постановку «Маскарада». В голосе Нины, которую играла Вольф-Израэль, звучали искренняя боль и печаль. Но участники маскарада и гости на балу танцевали по-комсомольски неуклюже. В тот вечер большие сугробы снега лежали неубранными на Невском. А на тумбах появились афиши, на которых небывало огромными, как-то даже неестественно большими буквами возгласилось на весь город: Осип Мандельштам<sup>1</sup>.

Мандельштам возродился! Он выступает с чтением своих стихов. Первой моей мыслью было задержаться в Ленинграде лишних три дня и дожидаться этого вечера. Но благоразумие взяло верх. Я вернулся в Москву в положенный по командировке срок. Благоразумие было вознаграждено: Мандельштам вскоре выступил и в аудитории Московского Политехнического музея<sup>2</sup>.

Зал был радостно оживлен. Мне чудилось напряженное ожидание. Но не все места были заняты. Сначала появился Эйхенбаум. Постаревший, как будто пришибленный, но продолжающий и при всем внешнем своем спокойствии фрондировать. Из его доклада мне запомнилось утверждение, явно претендовавшее на еретичность, о двух основных течениях в современной русской поэзии, исходящих от Маяковского и от Есенина.

<sup>1</sup> В Ленинграде в 1933 году Мандельштам выступал дважды — 22 февраля в Капелле и 2 марта в Доме печати.

<sup>2</sup> Вечер Мандельштама в Политехническом музее в Москве состоялся 14 марта 1933 года.

Доклад был несколько длинноват, прочитан вяло и особого энтузиазма не вызвал. А затем на эстраду вынырнул Мандельштам. Под пиджаком виднелся нарядный, несколько даже пестроватый и, видимо, добротный не то вязаный жилет, не то джемпер. Уже одно это было как-то неожиданным. Но еще неожиданнее была бородачка, которую отрастил поэт. Бородатый Мандельштам!

Во всем прочем он был тот же.

Его встретили аплодисментами. Аплодировали истово, долго-долго, как будто не могли насытиться. А главное — явно от души. Это не была «бурная овация»: Здесь не было ни наскока, ни самобудоражения. Аплодировали, изумляясь и радуясь тому, что вот здесь, в аудитории сошлось столько единомышленников по пониманию ценности мандельштамовской поэзии. Радостное единодушие хотелось длить еще и еще. Сам Мандельштам вскидывал голову, как триумфатор. Этот триумф был для него такой же неожиданностью, как и для тех, кто внезапно, по наитию так триумфально его встречал.

Он начал не со стихов, а с возражений против доклада Эйхенбаума. Почему-то он счел нужным «отмежеваться» от докладчика. Кто знает, быть может, потому, что Эйхенбаум оказался чересчур уж оппозиционным и быть с ним в одной компании становилось небезопасным? Или потому, что Мандельштаму было невтерпёж втискивание его самого вместе с современной поэзией в не очень-то удобную ему схему? Триумф вдохновил его речь. Она была повита высоким пафосом. Маяковского он возвеличил. Он назвал его «точильным камнем всей новой поэзии». Он яростно восставал на возможность какого-либо сопоставления Есенина с Маяковским.

Точно не помню, но, кажется, что тотчас же вслед за тем он прочел несколько своих стихотворений. Стихи были знакомые, старые. Но здесь, в этой огромной московской амфитеатро-воронке, глубокой, как яма, они звучали совсем не так, как когда-то в крохотной аудитории романогерманского семинара Петербургского университета или даже в большом домашнем «деревянном форуме» зала Тенишевского училища.

После перерыва с кратким снисходительно-рассудительным возражением выступил Эйхенбаум<sup>3</sup>. Это было уже

<sup>3</sup> Конспект речи Б. Эйхенбаума о Мандельштаме см. в кн.: *Эйхенбаум Б. М. О литературе М.* 1987. С. 446—449.

совсем ни к чему. Poleмика между критиком, от которого на вечере требовалось лишь дать рекомендацию выступающему вслед за тем поэту, и самим поэтом расхолаживала. К тому же лучшие чувства слушателей были уже расточены на аплодисменты и на восторг перед прозаической импровизацией Мандельштама. Да и сам он как бы растратил весь запас своих сил на эту импровизацию. Он читал и старые, и кое-какие новые стихи. Как будто с особым подъемом про фаэтонщика и про «бога Нахтигаля». Ему хлопали старательно. Но теперь уже лишь с отраженным от начальной встречи восторгом. Выходя на вызовы, он снова и снова читал стихи. Но все уже шло диминуэндо.

И все же это было торжество триумфатора.

ЭЛЕОНОРА ГУРВИЧ<sup>1</sup>

### ЧТО ПОМНИТСЯ

С Осипом Мандельштамом я познакомилась задолго до того, как в 1927 году стала женой его брата Александра. А услышала о нем еще раньше, году в 1915, будучи ученицей Феодосийской гимназии. Тогда в городе много говорили о «киммерийцах» — участниках кружка искусств, организованного М. А. Волошиным и К. Ф. Богаевским<sup>2</sup>. Кружковцы, собиравшиеся в каком-то подвальном помещении, ставили пьесы, читали стихи. Моя мать играла в пьесах Островского, отец был принят в кружок как художник-любитель из студии И. Айвазовского. Среди выступавших

<sup>1</sup> Гурвич Элеонора Самойловна (1890—1989) — жена Александра Эмильевича, брата Осипа Эмильевича Мандельштама.

Родилась в Феодосии в 1890 году. В конце 1910-х — начале 1920-х годов в Крыму встречалась с М. Волошиным, К. Богаевским, сестрами Цветаевыми, И. Эренбургом, С. Парнок. В сборнике «Ковчег», вышедшем в Феодосии в 1920 году, были напечатаны ее стихи. Окончила ВХУТЕМАС, где училась у В. Фаворского. Позднее стала членом Союза художников СССР.

Художник тонкой души, подлинной культуры, мастер колорита, Элеонора Самойловна даже в последние годы поражала окружающих своей творческой активностью, оптимизмом, живым, почти наивным интересом ко всему, что происходит в жизни.

Ее воспоминания об Осипе Эмильевиче Мандельштаме записаны в 1986 году.

<sup>2</sup> Деятельность Феодосийского литературно-художественного общества «Киммерика» началась в 1916 году.

с чтением стихов, кроме уже пользовавшегося известностью и особенно чтимого в Крыму Волошина, был и Осип Мандельштам. Увидела я его позже, после Октября, во ФЛАКе (так сокращенно называли «Феодосийский Литературно-Артистический кружок»), — там Осип читал свои стихи<sup>3</sup>. Как и многие мои сверстники, я была увлечена поэзией и не могла пропустить новое имя. Худенький, миниатюрный, голова закинута назад, волосы торчат хохолком, оттопыренные уши — он показался смешным. А стихи понравились! Читал он нараспев (тогда это было ново), имел успех у молодежи. Приехал он тогда в Феодосию с братом Александром, ходили оба в красных рубахах, загорелые (на чтении Осип был одет хорошо, в модном пиджаке). В то время в Феодосии находились И. Эренбург, Г. Шенгели с женой, бывали у нас в доме. На главной улице, Итальянской, была немецкая кондитерская Реслера — большие стеклянные окна, интерьер в шоколадно-бежевых тонах. Ее облюбовал Осип, подолгу сиживал там и пил какао с пирожными. Этой привычке не изменил и тогда, когда впал в нужду. Просил «взаимы» у богатых караимов, приговаривая: «На том свете припомнится вам, что вы не помогли великому поэту».

Говорил он всегда образно, своеобразно. Сидим как-то, Ося с братом и я с сестрой, пьем сухое вино в кафе «Бубны», кафе открытое, жара, в воздухе реет множество птиц. Ося поднял голову: «Смотрите, птички кипят». В Москве в начале 1920-х годов Ося с Надей жили на Тверском бульваре, во дворе «Дома Герцена». У них часто бывали Е. Хазин, брат Нади, и Валентин Парнок<sup>4</sup>. Играли в шахматы, шумели, дурачились, Хазин изображал лошадь, Парнок — всадника, бегали по комнате.

До моего замужества встречи с Осипом были эпизодическими. В 1927 году, увидев его в одном из московских издательств, я сказала, что вышла замуж за Александра. «Я очень рад, очень рад», — сказал Ося и обеими руками сжал мне руку. Мы с Александром поселились в Старосадском переулке, и Осип с Надей, когда наезжали в Моск-

<sup>3</sup> О. Мандельштам выступал со своими стихами во ФЛАКе в январе — марте 1920 года.

<sup>4</sup> Парнок (Парнах) В. Я. (1891—1951) — поэт, переводчик, музыкант, хореограф; его имя дано герою повести О. Мандельштама «Египетская марка» (1928).

ву, жили у нас. Теснились мы все четверо в одной комнате большой «коммунальной» квартиры. Ося был очень нервозен, непрерывно курил, кричал: «чаю! чаю!», занимал по долгу общий телефон, вызывая протесты соседей. Звонил в Союз писателей, В. Ставскому, требовал. Часто к нему заходили гости, бывала Ахматова, Эмма Герштейн.

*Примечания и публикация А. А. Мандельштама.*

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ  
В «МЕМУАРАХ»  
РЮРИКА ИВНЕВА<sup>1</sup>

[ТОМ I]

Из главы IV

[...] Николай Владимирович Недоброво был воплощением «петербургской порядочности» — мягкий голос, пробор, посыпанная сахаром едкость. Впоследствии он организовал «Петербургское общество поэтов», в котором бывали Кузмин, Георгий Иванов, Осип Мандельштам и многие другие [...]

Из главы VIII

[...] В «Бродячей собаке» часто читали стихи Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Михаил Кузмин, Осип Мандельштам, Георгий Иванов, часто выступал и я [...]<sup>2</sup>

Из главы XIII

*«Паллада». Чудачества Осипа Мандельштама.  
Жертвы Георгия Иванова. «Хороший тон».*

Очень характерна для Петербурга того времени была интересная, живая, оригинальничавшая Богданова-Бельская, которую ее друзья окрестили «Палладой».

<sup>1</sup> Отрывки из «Мемуаров» Рюрика Ивнева печатаются по машинописи, хранящейся в ГЛФ, ф. 372 (р. Ивнева), оп. 1, д. 250, 253.

<sup>2</sup> Об истории литературно-художественного кабаре «Бродячая собака» см. публикации: *Парнис А. Е., Тименчик Р. Д.* Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л.: Наука. 1985. С. 160—257.

Ее небольшая квартира и днем и ночью была к услугам любой экстравагантной компании.

Меня познакомил с Палладой Георгий Иванов, в ту пору бравировавший своей дружбой с Осипом Мандельштамом, который, в свою очередь, «выставлял напоказ» свою дружбу с Георгием Ивановым. И тому и другому, очевидно, нравилось «вызывать толки». Они всюду показывались вместе. В этом было что-то смешное, вернее, смешным было их всегдашнее совместное появление в обществе и их манера подчеркивать то, что они — неразлучны.

Георгий Иванов в присутствии самого Мандельштама часто читал в «Бродячей Собаке» и в других местах стихи о дружбе, где были такие строки:

А спутник мой со мною рядом  
Лелеет безнадежный сон.  
Не верит дням, не верит взглядам  
И дружбою не утолен.

Но вскоре им, очевидно, надоела эта комедия. Осип Мандельштам «остепенился», а Георгий Иванов начал появляться с Георгием Адамовичем.

Шныряя не только по редакциям и литературным кабачкам, вроде «Бродячей Собаки» или ресторана «Вена» (в нем я не был ни разу, но слышал, что там одно время собирались и пьянствовали Куприн, Арцыбашев и многие другие писатели и журналисты, особенно «желтые» типа Аркадия Бухова и Дмитрия Цензора), Георгий Иванов любил выискивать в среде «окололитературной» публики жертвы, которых он безжалостно эксплуатировал и над которыми за глаза безжалостно потешался. Поужинать на счет такой «жертвы» или выудить у нее деньги было своего рода спортом и у него, и, одно время, у Осипа Мандельштама.

Я смутно помню, что они пытались организовать «журнал» на счет доверчивого сынка какого-то купчика, имевшего несчастье пытаться войти в литературу, очевидно, на том основании, что литература рифмуется с мануфактурой. Я представляю себе, как они общипали бы Валю Пастухова или Бориса Дурдина<sup>1</sup>, если бы не питали к ним такое же чувство, как ко мне [...]

<sup>1</sup>Валя Пастухов и Борис Дурдин — поэты-дилетанты, сыновья крупных промышленников.

Помимо «салонов», в которых собирались поэты, в Петербурге было в ту пору несколько литературных объединений.

Николай Гумилев и Сергей Городецкий организовали «Цех поэтов», в него входили: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Лозинский, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов, Василий Гиппиус и др.

Органом Цеха был журнал «Гиперборей» (ежемесячник стихов и критики) [...]

Помню несколько комических эпизодов, не относящихся, правда, к поэзии, но касавшихся самих поэтов.

Осип Мандельштам и всюду проникавший Георгий Иванов, пользуясь «светским тоном» «общества поэтов», приняли за правило, приезжая на собрания, подходить к кому-нибудь из эстетствующих молодых людей и с «безупречно светским видом» непринужденно ронять сакраментальную фразу: «Пожалуйста, дайте рубль, внизу ждет извозчик».

Смущенный неожиданным обращением, «эстет» покорно вынимал бумажник или кошелек и протягивал «рубль на извозчика».

Но это стало повторяться слишком часто, и одному из «эстетов», который, быть может, сам всегда плелся пешком, надоело «возить» Осипа Мандельштама и Георгия Иванова, и однажды я был свидетелем, как кто-то им резко отказал, спросив: «почему вы, собственно, ко мне обращаетесь!» Но это нисколько не смутило двух друзей, и они сейчас же обратились с той же просьбой-требованием к кому-то другому [...]

## [ТОМ II, ЧАСТЬ I]

### Глава I

*Приезд в Харьков. Гостиница «Астория».  
Встреча с Осипом Мандельштамом. Миша Мильман.  
Сергей Михайлович Глаголин. Поездка в Киев.  
В лабиринтах Лавры. Тревога в отеле «Континенталь».*

В Харькове гостиницы были переполнены, и я не без труда достал маленький номер на самом верхнем этаже в «Астории». Как это часто бывает — то, что было значительно раньше, мы помним гораздо ярче, чем то, что было позже.

И харьковские дни подернуты дымкой тумана, я помню их гораздо меньше, чем Петербург 1913—1914 гг. — по крайней мере, совершенно не помню деталей и лишь по сохранившимся у меня немногочисленным записям в дневнике восстанавливаю в своей памяти все это время.

Помню ярко лишь мои встречи с Осипом Мандельштамом, который был в то время там, помню знакомство с его братом Александром и с Мишей Мильманом — славным юношей, работавшим в Украинском Центральном Телеграфном агентстве.

Там же я познакомился с миниатюрным человеком, который не мог не обратить на себя внимания, Сергеем Михайловичем Глаголиным. Живой, изобретательный, остроумный и на редкость доброжелательный, он привлекал к себе всех тех, кому приходилось с ним сталкиваться.

В Харькове же я познакомился с Георгием Шенгели, напыщенным и ходульным, маленьким поэтом с брюсовской сухостью, но без брюсовского таланта.

С Мандельштамом творилось что-то невероятное, точно кто-то подменил петербургского Мандельштама. Революция ударила ему в голову, как крепкое вино ударяет в голову человеку, никогда не пившему.

Я никогда не встречал человека, который бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимал бы революцию и отвергал ее.

Он был похож на заблудившегося ребенка, который никак не может привыкнуть к новой обстановке, к новым условиям, но, в отличие от ребенка, он не хотел вернуться в свой дом, впрочем, быть может, потому, что у него никогда не было дома.

Если это правда, что существует такая болезнь, при которой человек становится прозорлив от одной мысли, что продукты питания ограничены и достаются с трудом, то Мандельштам был болен именно этой болезнью, которую, если не ошибаюсь, кто-то назвал «психической голо[до]в[к]ой». Я вспоминаю несколько сцен, свидетелем которых я был еще в 1918 г. в Москве в «Метрополе», где одно время жил Мандельштам (как раз когда я жил в этой гостинице): я видел «собственными глазами», как Осип Эмильевич «уминал» буханку черного хлеба без единого глотка воды и как он грыз, точно белка, колотый сахар, но такие громадные куски, с которыми бы никакая белка не справилась.

Этой чудовищной прозорливостью он славился и в

Харькове, где в ту пору, по сравнению с Москвой, было полное изобилие всего съестного.

О. Э., точно преследуемый навязчивой мыслью, что все это изобилие вот-вот должно иссякнуть, обедал за троих, ужинал за четверых и поедал невероятное количество сладкого.

Так как он писал очень много и ни к какому другому труду не был приспособлен, то с фаталистической верой в то, что мир должен оплачивать его расходы за одно то, что он появился на свет, он готов был продать и перепродать свои старые стихи каждому фасаду, под которым красовалась вывеска учреждения и в недрах которого ютилась бухгалтерия.

Был случай, когда какой-то редактор, зная, что если он выпишет Мандельштаму аванс, не получив за него готовый материал, то О. Э. к нему больше не покажется на порог, обещал выплатить 100% гонорара, но лишь после получения рукописи. О. Э. нужны были, как всегда, деньги, и он, оговорив, что ему будет выплачен гонорар сейчас же после вручения редактору рукописи, тут же в редакции сел за столик и начал по памяти записывать свои стихи, но так как дело не клеилось и он не мог вспомнить всех стихов, то он пошел по линии «наименьшего сопротивления» и переписал одно и то же стихотворение раз двадцать, лишь бы заполнить лист, зная, что редактор не будет читать сейчас же, а деньги выплатит, согласно условия, немедленно после вручения рукописи.

И действительно, редактор, для которого имя Мандельштама было достаточной гарантией, пересчитал лишь страницы, сунул рукопись, или, вернее, автографы Мандельштама в ящик письменного стола и выписал ему полностью весь гонорар, добрая часть которого была оставлена Мандельштамом в кафе, помещавшемся рядом с редакцией.

Харьковские дни, за исключением нескольких встреч и лиц, — это какой-то странный пробел в моей памяти, но по одной записи, которую я нашел в дневнике (я ее воспроизвожу ниже), очевидно, [что] у меня был неожиданный рецидив пессимистического настроения 1916 года.

«Я чувствую такую пустыню вокруг себя, такой холод. Думаю, и не могу остановиться.

7 апреля, поздно вечером у себя (в «Астории») после лекции, которую я только что прочел в зале «Медицинского Общества» — «Интеллигенция и народ».

И еще одна запись за 7 дней до этой:

«Никогда не видел столько нищих, как здесь. Они подходят, трогают за рукав, просят, умоляют, крестятся, плачут, проклинаят. (Одна старушка подошла к нам в кондитерской и назвала меня «господин товарищ»).

Невыносимо смотреть на эту ужасающую нищету.

Ночь на 30 марта. Харьков (у себя в гостинице, перед сном)».

Не знаю, чем объяснить эти настроения — тем ли, что я, может быть, неудачно прочел лекцию, тем ли, что меня взволновал контраст между «харьковским обилием» в кафе и нищетой, или чем-нибудь другим, но несомненно, что во мне были еще не изжиты наивные представления о революции, как о мгновенном исцелении общества от того ужаса и тех несправедливостей, которые утверждались, накапливались и культивировались веками.

Надо было работать, засучив рукава, а я не мог избавиться от привычки рассуждать и анализировать.

Это было тоже болезнью — более поэтической, чем Мандельштамовская, но не менее опустошающей душу.

Не помню, при каких обстоятельствах, но в конце апреля состоялась моя поездка в Киев. Возможно, что вместе с О. Мандельштамом, т. к. из моих записей в дневнике видно, что О. Э. был в Киеве одновременно со мной.

Остановились мы в гостинице «Континенталь». Киев произвел на меня чарующее впечатление.

Как редки вечера такие,  
Вот здесь стоял бы до утра,  
Смотря с моста на пестрый Киев,  
На гладь широкую Днепра.

Я подолгу стоял на всячем мосту, любуясь городом, утопавшим в зелени.

Весна, шум не знакомого до этого времени города, неожиданный и случайный приезд, новые знакомства, какая-то своеобразная неопределенность пребывания — все это действовало как-то особенно возбуждающе.

Мне запомнились блуждания в Купеческом Саду, первомайский праздник и особенно ярко — посещение Лавры.

Вот выписка из моих записей 2 мая 1919 г.:

«Какой невероятный контраст! На улице солнце, флаги, музыка, войска. В монастырском дворе — тень, тишина, нищенки. Первомайские летучки попали в церковный двор.



Нищенка спросила: что там такое написано? Другая что-то пробурчала. Первая сказала: лучше бы по куску хлеба дали, чем листки разбрасывать.

В церковных дверях стоял священник — хмуро и сурово, но не зло смотревший на первомайские празднества. Из церкви вышел монах — молодой, бледный, и стал исто-во крестить толпу. За ним стоял псаломщик — высокий, добродушный. Тот смотрел изумительно добрыми, улыбающимися глазами на толпу.

Мы вошли вовнутрь церковного двора (я и О. Э. Мандельштам). О. Э. сказал (показывая на церковные стены): «Поверьте, что это — переживает все...»

Вчера мы ездили в Лавру. Ездили безобразно, глупо, по мальчишески, только так, чтобы проехаться и посмотреть пещеры.

На О. Э. Мандельштама Лавра произвела удручающее впечатление.

Когда я спросил его — почему, он ответил: «Разве вы не видите, что здесь та же чрезвычайка, но «навыворот». Здесь нет «святости».

Попадавшиеся нам монахи смотрели враждебно на еврейские лица Осипа Эмильевича и особенно его брата Александра Эмильевича.

Эти взгляды действительно далеки были от «святости».

Одна из главных достопримечательностей Лавры — это так называемые пещеры — подземные лабиринты, в которых без знающего все входы и выходы легко можно заблудиться.

Все пещеры усеяны гробницами, бесконечным количеством «святых мощей».

Это — целый подземный город, созданный монахами и игравший во времена Империи роль оплота реакции и мракобесия. Это, конечно, не исключало того, что наряду с плутами и политиками в рясах здесь жили отдельные праведники, аскеты и люди с высокой духовной культурой.

Эту поездку в Лавру мы с О. Э. потом часто вспоминали. На несколько дней совершенно неожиданно в Киев приехали Мариенгоф и Есенин<sup>1</sup>.

Было подготовлено наше совместное выступление, напечатана необыкновенно претенциозная афиша, но почему-то вечер так и не состоялся. Устроитель вечера, импрессиарио (фамилию забыл) был очень забавный киевский еврей,

<sup>1</sup> Поездка С. Есенина и А. Мариенгофа на Украину в действительности датируется весной 1920 г.

которого бесконечно «разыгрывали» О. Э. и С. М. Глаголин.

Этот импрессиарио всегда надоедал расспросами: «Как вы думаете, «зеленые» могут ворваться в Киев?» (Он был страшно напуган возможностью еврейского погрома, который устраивали рыскавшие невдалеке от Киева банды «зеленых».)

О. Э., шутя, сказал ему: «Вот Рюрик Ивнев смелее вас. Ведь он тоже еврей, а не боится погромов».

«Как, вы еврей?» — спросил меня импрессиарио.

«Нет, — ответил я. — О. Э. шутит, я не еврей».

О. Э. продолжал его «разыгрывать», так что наш импрессиарио уже совершенно запутался и не мог разобрать, где шутка, где правда. Когда же в ответ на его пристаивания, будут ли устраивать «зеленые» погромы и «вспарывать евреям кишки», я засмеялся и сказал: «Ну, слушайте, зачем они будут вспарывать нам кишки, что у нас там, золото, что ли?» — он захопал в ладоши и воскликнул:

«Ну, теперь я вижу, что вы действительно еврей».

Атмосфера в Киеве была накалена настолько, что один раз, ночью, когда на улице раздался случайный выстрел, из нашей гостиницы выскочил какой-то испуганный постоялец и пробежал несколько саженей в одном белье, пока не разобрал, что никакой тревоги нет и все спокойно.

На другой день он, кажется, сбежал из «Континенталья», чтобы не быть посмешищем гостиницы.

## Глава II

*Супруги Марьяновы. «Завоевание курортов». Возвращение в Харьков. Визит с Осипом Мандельштамом и Георгием Шенгели к военному комиссару города. «Поэтам захотелось к морю».*

В Киеве я познакомился с Мальвиной Мионовной и Давидом Иоанновичем Марьяновыми<sup>1</sup>.

Д. И. Марьянов работал не то в Главполитпросвете, не то в каком-то другом культурно-просветительном учреждении. Это был удивительный человек, в котором необычайная кошачья мягкость сочеталась с большой жест-

<sup>1</sup> Марьянова М. М. (1896—1972) — поэтесса; в ее альбоме (ЦГАЛИ) сохранился автограф О. Мандельштама (отр. из стихотворения «Tristia»), записанный в Киеве 27 апреля 1919 г.

костью. Он со всеми соглашался, всем поддакивал, но все делал по-своему. Небольшого роста, с красивым женственным лицом, темными голубыми глазами и откинутыми назад длинными волосами, напомилавший своей наружностью провинциального художника, он производил скорее приятное впечатление, несмотря на претенциозность, которая всегда отталкивает. Он женился в 1912 г. на Мальвине Марьяновой, дочери Бердичевского раввина, когда она была совсем юной девушкой, получил некоторое «приданое» и поехал с ней за границу, где прожил года два, из них большую часть времени в Италии.

Потом, когда «приданое» было проедено и «проезжено», он охладил к Мальвине и вскоре после нашего знакомства развелся с ней и женился на другой (как мне об этом говорила позже Мальвина).

Он умудрился получить довольно большие деньги и командировку за границу. Уехав в 1920 или 21 году в Берлин, он уже больше не вернулся в Советскую Россию и остался в Германии. Кажется, он вышел из партии (большевиков).

Через несколько лет он бросил и вторую жену и женился на дочери знаменитого Эйнштейна.

Но он побил рекорд наглости, когда, будучи «невозвращенцем» (т. е. порвавшим с Советской Россией и не вернувшимся на родину), появился через 7—8 лет после этого в Москве в качестве секретаря Эйнштейна (вместе с Эйнштейном) с заграничным паспортом<sup>1</sup>.

Он был типичным авантюристом, но тонким и ловким, все его расчеты бывали всегда безошибочны и ставки бесприкрыты.

Одно время за границей было движение за создание какого-то «Дворца Мира», и он был ревностным сторонником этого движения.

Мальвина напоминала «Мадонну» Рафаэля. Она была в ту пору очень красива.

Ее увлечение поэзией было вполне объяснимо, так как она сама писала стихи — наивные, беспомощные, в которых, несмотря на все это, было что-то почти неуловимо

<sup>1</sup> Д. И. Марьянов уехал в Берлин в 1922 г., в качестве сопровождающего «Первой всероссийской художественной выставки русского искусства». Его брак с Марго Эйнштейн (падчерицей А. Эйнштейна) был заключен в 1930 г. В сентябре 1930 г. Д. И. Марьянов (вместе с Марго Эйнштейн) сопровождал Рабиндраната Тагора в его поездке в Москву. Сведения о приезде А. Эйнштейна в Москву действительности не соответствуют.

оригинальное, какой-то заглушенный, еле слышный, но все же свой голос.

Впоследствии мы с ней очень сблизились.

Вспоминая Киев того времени, нельзя не вспомнить какого-то особенного ощущения легкости и беззаботности, которое накладывало отпечаток на нашу жизнь.

Старые формы жизни были сломаны, новые — воздвигались на наших глазах. Во всей этой стройке было что-то детское, наивное, свежее. Мы не знали, что будет с нами завтра, и в этом была какая-то особенная прелесть.

С фронта приходили приятно возбуждающие вести: наши войска брали один за другим города у белых, и Крым становился Советским.

О. Э. Мандельштам ходил взбудораженный, точно опьяненный, и говорил: «К лету завоевываются курорты!» В то время как в Киеве кипела жизнь, Петербург приходил в упадок. Вот что записано у меня в тетради в «ночь на 14 мая»:

«Приехал пианист Дубянский из Петербурга. Рассказывает всякие ужасы: холод, голод, мертвенность улиц. «Петербургу быть пусту». Сбылось это ужасное пророчество. Рассказы Дубянского меня расстроили совершенно. Мне стало невыносимо тоскливо. Я вспомнил Петербург в дни его могущества, и сердце разрывается при мысли, чем я стал. Мне бесконечно больно за Сологуба, который буквально голодает, по рассказам Дубянского. Мерзковский и Гиппиус собираются уехать в Швецию. Все разбито, разрушено. Несмотря на то, что все они, должно быть, ненавидят меня за мой большевизм, мне их бесконечно жаль».

Прежде чем вернуться в Москву, я решил на месяц съездить в Крым. О. Э. Мандельштам тоже рвался туда.

Мы выехали в Харьков с тем, чтобы оттуда ехать в Ялту.

В Харькове мы узнали, что Крым считался прифронтовой полосой и для поездки туда требуется особое разрешение военного командования.

Особенно ярко запомнился визит к военному комиссару..... (фамилию забыл)<sup>1</sup>. Мы пошли втроем: О. Э. Мандельштам, Георгий Шенгели и я.

<sup>1</sup> В другом варианте воспоминаний Рюрика Ивнева об этом эпизоде упомянут «военный комиссар Скрыпник» (Кодры. 1988. № 2. С. 109). Скрыпник Н. А. (1872—1933) — впоследствии занимал посты генерального прокурора, наркома юстиции и наркома просвещения Украины.

Георгий Шенгели со свойственной ему педантичностью составил чуть ли не меморандум, в котором напыщенно и претенциозно изложил по пунктам необходимость нашей поездки в Крым с целью пропаганды советского искусства в городах, только что освобожденных от белых.

О. Э. и я сидели молча в качестве «свидетелей», а Шенгели разливался соловьем, приободренный тем, что комиссар слушал его очень внимательно. Мне помнится, что он говорил очень долго и сугубо деловито; наконец, он кончил.

Загипнотизированные деловитостью его тона, мы ожидали, что комиссар ответит в том же духе. Каково же было наше изумление (и до некоторой степени конфуз), когда он улыбнулся и произнес с лукавой мягкостью: «Поэтам захотелось к морю. Ну, что ж, поезжайте». И тут же написал нам пропуск.

В ту пору Советские формы государственной машины еще не отвердели и были как бы в газообразном состоянии. Я фактически состоял заведующим организационным бюро поезда имени А. В. Луначарского, но, имея широкие полномочия, мог по своему усмотрению решить вопрос о сроке возвращения в Москву (чего невозможно было себе представить в дальнейшем, после окончания гражданской войны).

Составляя маршрут будущего поезда (литературно-пропагандистского), я решил включить в него и Крым, предполагая оттуда вернуться прямо в Москву, но, как будет видно из дальнейшего, моим планам не суждено было осуществиться, так как Крым оказался в скором времени в руках Деникина.

### Глава III

*Григорий Петников. Поездка в Крым. В Ялту на грузовике.  
Симферополь. Петя Лукомский.  
Приезд Александры Михайловны Коллонтай.*

Я не помню, как это случилось, но я выехал из Харькова не с Шенгели и Мандельштамом (может быть, они поехали позже или раньше), а с Григорием Петниковым [...]

*Публикация Е. И. Ледневой*

НАТАЛЬЯ ЭФРОС<sup>1</sup>

### АБРАМ ЭФРОС И ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

«Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос — я была с ним — и предложил «союз», нечто вроде «неоклассиков». Все претенденты на «неоклассицизм» собрались у Эфроса — Липскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев да еще два-три человека, которых я не запомнила. Эфрос разливался соловьем, доказывая, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большая делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы, — «вы нам нужны»... Где-то на фоне маячил Художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез (выделено мною. — Н. Э.). Каждому в отдельности он сказал, почему ему с

<sup>1</sup> Эфрос Наталья Давыдовна (девичья фамилия Гальперина, 1889—1989) — родилась в селе Средний Икорец Бобровского уезда Воронежской губернии в семье земского врача. Среднее образование получила в Москве, в частной женской гимназии Алферовой, высшее — на историческом факультете Московского университета, который окончила в 1916 году. Около 1911 года вышла замуж за Абрама Марковича Эфроса (1888—1954) — поэта, переводчика, искусствоведа, издательского работника. А. М. Эфрос входил в правление издательства артели русских писателей «Круг», возглавляемого А. К. Воронским (основано в августе 1922 года, в 1927 году слилось с «Федерацией»), возглавлял правление издательства «Узел» и отдел западноевропейской литературы в издательстве «Academia».

Первая печатная работа Н. Д. Эфрос — а она автор более чем 60 публикаций — относится к 1913 году — перевод повестей «Поль и Виржиния» и «Индийская хижина» французского писателя Бернарда де Сен-Пьера. После революции она работала редактором ряда ведомственных изданий Наркомпроса и др. В 1933—1941 и 1946—1977 годах сотрудничала в «Литературном наследстве». В 1941—1945 годах — в эвакуации в Андижане, где работала медсестрой в период эпидемии сыпного тифа. В Москву вернулась в 1943 году, работала в Совинформбюро, в том числе над переводом подготовительных материалов к Нюрнбергскому процессу.

После выхода на пенсию в 1977 году Н. Д. Эфрос села за мемуары, которые назвала «А. М. Эфрос. Воспоминания свидетеля многих лет его жизни» (их общий объем — 447 страниц!). Отрывок из них публикуется в настоящем сборнике. Достоин быть отмеченным и следующее свидетельство Н. Д. Эфрос, не попавшее в ее мемуары: когда летом 1917 года Мандельштам приехал из Петрограда в Москву, он останавливался на Красной Пресне у Эфросов.

Благодарим Д. Г. Эфроса, внука Н. Д. Эфрос, за сообщенные им биографические сведения о ней.

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД ПО ИСКУ  
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева («за дядю», как он мне потом объяснил) [...] Эфрос никогда этой встречи не забыл, и она отозвалась в последующие годы достаточно явно — тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды».

Приведенная цитата взята из мемуаров Н. Я. Мандельштам, в которых автор не раз призывает к правде и сетует на лживость писательской среды<sup>1</sup>. Между тем в бумагах А. М. Эфроса сохранилась рукопись трех стихотворений Мандельштама 1922—1923 г., категорически отказавшегося, как утверждает мемуаристка, от участия в издании, затеваемом Эфросом. Стихотворения были, несомненно, переданы для напечатания, и Мандельштам получил за них гонорар. Издание «Круг» не было осуществлено («Касовая книга» и стихотворения Мандельштама переданы мною в Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. Ленина, в фонд А. М. Эфроса<sup>2</sup>).

И еще... Н. Я. не уточняет, какими именно «тысячами пакостей» Эфрос мстил Мандельштаму. Я не знаю, что происходило в писательских организациях, где «делец» Эфрос, по словам того же автора, пользовался влиянием, но хорошо помню следующее: Мандельштам взял у Эфроса подборку книг по русской литературе 1910—1920 гг. и, несмотря на многократные напоминания, упорно не возвращал их. Потеряв терпение, Абрам Маркович, который очень дорожил книгами вообще, а этими особенно, так как среди них были с дарственными надписями авторов, отправился на квартиру к Мандельштаму и потребовал возврата своей собственности. Как ему удалось вернуть книги, я не знаю, возможно, что Эфрос был при этом не слишком галантен, с ним такое случалось, но вот истинная и отнюдь не принципиальная причина конфликта между Мандельштамом и Эфросом [...]

<sup>1</sup> Мандельштам Н. Я. Вторая книга: Воспоминания М.: Моск. рабочий, 1990. С. 104—105.

<sup>2</sup> В сборнике группы «классиков» «Лирический Круг. I» (М.: Северные дни, 1922), включавшем коллективно подписанное предисловие и программную статью А. Эфроса «Вестник у порога. I. Дух классики», были напечатаны два стихотворения О. Мандельштама («Умывался ночью на дворе...» и «Когда Психея-жизнь спускается к теням...»), а также стихи и статьи К. Липскерова, С. Парнок, С. Соловьева, А. Ахматовой, В. Ходасевича и др. Упомянутые Н. Д. Эфрос три стихотворения Мандельштама («Ветер нам утешенье принес...», «Грифельная ода» и «Париж») предназначались, вероятно, для невышедшего второго выпуска сборника.

Когда мама и мой отчим — Алексей Николаевич Толстой приезжали в Москву, они обычно останавливались у Радиных. Радиных и Толстых соединяла многолетняя теплая дружба. Николай Мариусович Радин и его жена Елена Митрофановна Шатрова были в то время актерами Малого театра в Москве; до этого они прошли через театр Корша и многие другие сцены. Они были не только талантливыми актерами, но и интересными и обаятельными людьми. Шумный успех «Стакана воды» Скриба был во многом обязан обаянию Николая Мариусовича. В те годы Николай Мариусович считался одним из самых остроумных и элегантных людей в Москве.

Радины жили на Большой Дмитровке, недалеко от Садовой. Их квартира помещалась в бельэтаже большого (по тогдашним представлениям) серого дома. Поднявшись на несколько ступенек, вы входили в громадную выбеленную переднюю, освещаемую тусклой лампочкой. В углу валялись остатки разбитого гипсового ангела. Широкая стеклянная дверь вела во внутреннюю часть квартиры. Вы попадали в крошечную проходную комнату, служившую столовой. В ней стояли дубовый буфет, обеденный стол и несколько венских стульев, задвинутых под стол. Когда бывали гости, в этой комнате оказывалось невозможно перемещаться, можно было только протискиваться. Налево за дверью помещался большой кабинет Радина с широким уютным диваном и маленьким письменным столиком, далее — спальня с двумя сдвинутыми кроватями на латунных ножках. В глубине квартиры имелась еще одна маленькая комната, в которой жил администратор какого-то из московских театров, тихий маленький челове-

<sup>1</sup> Волькенштейн, Федор Федорович (1908—1985) — профессор, доктор физико-математических наук. Сын поэтессы Н. В. Крандиевской-Толстой, пасынок А. Н. Толстого. Его воспоминания (под фамилией Крандиевский) опубликованы в журнале «Звезда» (1981, № 1, и 1984, № 4). Предлагаемый рассказ — одна из глав, исключенных редакцией «Звезды» из воспоминаний 1984 года.

«История с пощечиной» известна в нескольких различающихся между собой версиях (воспоминания Е. Тагер, Н. Чуковского, С. Липкина и др.).

чек Мишка Разумовский. Таким образом эта квартира, как большинство квартир в тогдашней Москве, была своего рода «коммунальной». Мишка жил здесь в роли члена семьи, у него было свое место за обеденным столом, он молчаливо присутствовал при всех пиршествах и разговорах.

Вечер, который я здесь хочу описать, начался как обычно. Пили водку маленькими стопками, закусывая миногой в горчичном соусе и маринованными грибочками. И Толстой, и Радин, и Мишка понимали толк в еде. Рассказывались бесконечные истории и анекдоты из актерской жизни: кто кому где что сказал, кому не дали ожидаемой роли, кто с кем спит. Поставщиком наиболее свежих сплетен был Мишка, который был связан не только с Малым, но и с другими театрами. Звенели бокалы, произносились длинные тосты, у которых конец никак не был связан с началом. Мишка, зажав между коленями бутылку шампанского и держа в левой руке белую салфетку, медленно и бесшумно вынимал пробку. Было оживленно и весело. Толстой, обратившись к Мишке, кричал ни с того ни с сего:

— Мишка, хочешь я тебе дам сто рублей?

Мишка что-то мямлил.

— На, держи! — кричал отчим, протягивая Мишке через стол сторублевую бумажку.

В эту минуту он взглянул на стенные часы в черной рамке, висевшие над дверью, и обомлел. Было четверть восьмого.

— Ба! — Воскликнул он, ударив себя ладонью по лбу. — Сегодня в семь часов назначен товарищеский суд над Осипом Мандельштамом. Я — председатель суда.

— Суд не над Осипом Мандельштамом, а суд по иску Осипа Мандельштама, — поправила мама.

— Это все равно. Бежим скорее. Мы еще не слишком опоздали.

Все вскочили с мест, началась давка. Толстой, ни с кем не прощаясь, бросился в переднюю, за ним мама и я. Мы бежали по Большой Дмитровке, застегиваясь на ходу, в надежде встретить свободного извозчика.

Заседание товарищеского суда должно было происходить в помещении столовой в Доме Герцена. Это старинный желто-белый особняк со столовой, библиотекой, миллиардной, с разными редакциями и другими писательскими учреждениями, а также с небольшим писательским обще-

житием, коммунальной кухней, в которой всегда пахло кислыми шами. Одну из комнат в этом общежитии занимал Осип Мандельштам с женой, в другой жил какой-то молодой поэт, не русский. Я не помню сейчас ни его имени, ни национальности<sup>1</sup>. Он вел себя довольно нагло: отказывался вернуть сорок рублей, взятых когда-то у Мандельштама взаймы. Оскорбительно вел себя по отношению к жене Мандельштама. Уже много месяцев среди горячих конфорок и кастрюль с супом шла нескончаемая коммунально-кухонная писательская склока. В конце концов Мандельштам подал на своего обидчика жалобу в товарищеский суд. Председателем этого суда был почему-то назначен Толстой.

Дом Герцена находился в густом саду, отделявшем его от Тверского бульвара. В летние теплые вечера в саду расставлялись столики, зажигались разноцветные лампочки. Здесь можно было понивать пиво или есть мороженое, рассматривая проходящих по бульвару.

Сейчас здесь было совсем темно. Лишь в первом этаже светились окна столовой. Нам навстречу выбежал молодой человек, поздоровался, помог раздеться, а затем, взяв отчима под локоток, повел его через зал и через сцену в какую-то заднюю комнату. Там в течение десяти — пятнадцати минут Толстого инструктировали, как надо вести процесс: проявить снисхождение к молодому национальному поэту, только начинающему печататься, к тому же члену партии.

Все столы в столовой (небольшой зал со сценой) были сдвинуты в угол, а стулья — расставлены перед сценой, как в театре. Мы с мамой сели в одном из первых рядов. В зале было много народу: вставали, садились, собирались группками и тихо беседовали. На нас с мамой смотрели с опаской. Все устали от полуторачасового ожидания. Наконец, зазвонил колокольчик. Все сели.

— Суд идет!

Все встали. Толстой с папкой под мышкой поднялся на сцену и сел на приготовленное для него место. Воцарилась тишина. Толстой открыл заседание. Проведя ладонью по лицу, как бы снимая паутину (такой знакомый, его всегдашний жест!), он сказал:

<sup>1</sup> Бородин С. П. (псевд. Амир Саргиджан, 1902—1974), писатель, в 30-х годах автор произведений на темы жизни советской Средней Азии. Наиболее известен его роман «Дмитрий Донской» (1941). Столкновение Мандельштама с ним произошло летом 1932 года, «товарищеский суд» — 13 сентября 1932 г.

— Мы будем судить диалектички.

Все переглянулись. Раздался тихий ропот. Никто не понял, и сам председатель не знал, что это значит. Начались вопросы, речи, суд протекал, как ему положено. Истец, Мандельштам, нервно ходил по сцене. Обвиняемый, развалясь на стуле, молчал и рассматривал публику. На его лице не было ни тени волнения. Казалось, что на сцене протекает никому не нужная процедура. Мандельштам произнес темпераментную речь. Обвиняемый молчал как истукан. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта.

После выступлений всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Довольно быстро Толстой вернулся и объявил решение суда: суд вменил в обязанность молодому поэту вернуть Осипу Мандельштаму взятые у него сорок рублей. Поэт был неудовлетворен таким решением и требовал иной формулировки: вернуть сорок рублей, когда это будет возможно. Суд, кажется, принял эту поправку.

Народ в зале не расходился. Все были возмущены. Ожидали, что суд призовет к порядку распоясавшегося молодого поэта. Зал бурлил. Раздавались возгласы: «Безобразие!», «Позор!». Не стоило созывать заседание суда, чтобы вынести постановление что, мол, надо отдавать взятые взаймы деньги.

Щупленький Мандельштам вскочил на стол и, потрясая маленьким кулачком, кричал, что это не «товарищеский суд», что он этого так не оставит, что Толстой ему за это еще ответит. Это было похоже на выступление Камилла Демулена перед Люксембургским Дворцом во время Французской революции. Атмосфера накалилась. Отчим, мама и я сочли разумным ретироваться...

На этом рассказанная здесь история не кончается. У нее есть свой эпилог...

В Ленинграде на Невском, против Казанского собора, стоит большой дом. Это бывший дом Зингера, немецкой фирмы по продаже швейных машинок. Стена украшена великорусской красавицей в кокошнике, которая крутит ручку машинки. Теперь это Дом книги. На первом этаже расположен громадный книжный магазин. На следующих этажах — различные редакции и издательства. Здесь в коридорах всегда можно встретить разных писателей. Однажды Толстой столкнулся в дверях лицом к лицу с Си-

пом Мандельштамом<sup>1</sup>. Мандельштам побледнел, а затем, отскочив и развернувшись, дал Толстому звонкую пощечину.

— Вот Вам за Ваш «товарищеский суд», — пробормотал он.

Толстой схватил Мандельштама за руку.

— Что Вы делаете?! Разве Вы не понимаете, что я могу Вас у-ни-что-жить! — прошипел Толстой.

И когда спустя некоторое время Мандельштам был арестован<sup>2</sup>, а затем сослан и след его утерялся, возник слух, что это дело рук Толстого. Я знал и заверяю читателя, что ни к аресту Мандельштама, ни к его дальнейшей судьбе Толстой не имел никакого отношения... Да разве мог человек произнести такую угрозу, имея в виду ее осуществление?

Публикация Л. Н. Радловой

Сов. секретно

Союз Советских Писателей СССР

Правление

В МАРТЕ 1938 ГОДА...

16 марта 1938 г.<sup>3</sup>

Наркомвнудел тов. ЕЖОВУ Н. И.<sup>4</sup>

Уважаемый Николай Иванович!

В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме.

Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию О. Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»)<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Описываемая сцена относится к весне 1934 г.

<sup>2</sup> О. Мандельштам был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 г.

<sup>3</sup> С 7 марта О. Мандельштам с женой находились в Саматихе, профсоюзной здравнице за Шатурой, где и был вторично арестован 2 мая 1938 года.

<sup>4</sup> Ежов Н. И. (1895—1940) — с 27 сентября 1936 года по декабрь 1938 года — наркомвнудел в звании генерального комиссара государственной безопасности. Весной 1930 года Мандельштам и Ежов временно отдыхали в правительственном санатории в Сухуми.

<sup>5</sup> С осени 1937 года Мандельштамы жили в Калининне (перед этим, летом — в Савелове).

## О СТИХАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА

Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет даже того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою страну.

Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком. (см. 4-ю строфу «Станс» стр. № 5 и даже 7-ю и 8-ю).

Едва ли можно отнести к образцам ясности и следующие строки:

«Где связанный и пригвожденный стон?  
Где Прометей — скалы подспорье и пособие?  
А коршун где — и желтоглазый гон  
Его когтей, летящих исподлобья?» (стр. № 23).

Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность. Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным.

Относительно хороши (и лучше прочих) стихи пейзажные (стр. 21, 25, 15), хороши стихотворения: 1) «Если б меня наши враги взяли...» (стр. 33), 2) «Не мучнистой бабочкою белой...» (стр. 7) и 3) «Мир начинается, страшен и велик...» (стр. 4).

Есть хорошие строки в «Стихах о Сталине», стихотворении, проникнутом большим чувством, что выделяет его из остальных.

В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине.

У меня нет под руками прежних стихов Мандельштама, чтобы проверить, как далеко ушел он теперь от них, но — читая — я на память большой разницы между теми и этими не чувствую, что, может быть, следует отнести уже ко мне самому, к нелюбви моей к стихам Мандельштама.

Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в «Стихах о Сталине» это чувствуется без обиняков, в

Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдалца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев<sup>1</sup>, И. Прут<sup>2</sup> и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко<sup>3</sup>, отзыв которого прилагаю при сем).

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме.

С коммунистическим приветом

В. Ставский<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Катаев Валентин Петрович (1897—1986) — писатель, один из немногих, кто после ареста и ссылки Мандельштама в 1934 году поддерживал отношения с опальным поэтом.

<sup>2</sup> Прут Иосиф Леонидович (р. 1900) — писатель, драматург, кинодраматург, в 1938 году жил в Ленинграде. Дружил с Е. Э. Мандельштамом, по просьбе которого поддерживал его старшего брата деньгами. Предположений о выступлениях или обращениях в поддержку О. Э. Мандельштама И. Л. Прут ни подтверждает, ни опровергает.

<sup>3</sup> Павленко Петр Андреевич (1899—1951) — писатель, один из крупнейших литературно-партийных начальников. Ср.: «В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 34 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе... Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали — он все за них хватался, отвечал невпопад — ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде, и тому подобное...» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М. 1989. С. 78).

<sup>4</sup> Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900—1943) — автор повестей о коллективизации и литературный функционер, после смерти А. М. Горького — генеральный секретарь Союза писателей СССР, в 1937—1941 годах — главный редактор журнала «Новый мир».

остальных же стихах — о советском догадываемся. Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует.

*П. Павленко*

*Публикация В. Шенталинского*

---

Материалы получены Комиссией по творческому наследию репрессированных писателей при Союзе писателей СССР из КГБ СССР.

*В. Б. НЕКРАСОВА*

### О СЕМЬЕ СИНАНИ

Борис Наумович Синани родился в городе Армянске в 1850 г. Он был одним из восьмерых детей торговца скотом товаром Наума Синани и его жены Эсфири. Наум Синани был известен своим деспотизмом и суровым нравом. Соседи звали его Зерзеле, что значит «землетрясение» по-караимски. Четыре дочери были выданы им замуж за людей, которых они никогда не видали. Сыновья воспитывались в рабском повиновении. Старший из них — Борис — рано воспротивился решению отца сделать из него торговца. Не получив разрешения на продолжение образования, ушел из дома без всяких средств к существованию, добрался до Петербурга, сдал экзамен на аттестат зрелости и поступил в Военно-Медицинскую Академию. После ухода имя его в семье было запрещено произносить. Приехал он в Армянск, находясь на последнем курсе академии. Смягчившись, отец разрешил ему повидать мать (что и было причиной приезда Бориса). Гордясь образованным сыном, отец созвал гостей караимов. По обычаю пожилые седобородые караимы чинно расселись, Борис же должен был, войдя, поцеловать каждому из них руку, но он со всеми поздоровался за руку! Это было неслыханно! Однако с опоздавшим на торжество бедным караимом он поступил иначе: ему он поцеловал руку. На вопрос младшего брата по этому поводу Борис ответил: «Чтобы он не подумал, что я пренебрегаю им из-за его бедности».

Русско-турецкая война началась в 1887—1888 гг. Сразу после окончания академии Борис Наумович отправился полковым врачом в действующую армию. «Я, как и многие народовольцы, хотел освободить русский народ, но ничего у нас не вышло в то время. Вот и поехали мы освободять болгар от турецкого ига». Так рассказывал Борис Наумович своему племяннику Самуилу Соломоновичу Синани.

После войны Борис Наумович вышел в отставку и поступил врачом-психиатром в Коломовскую психиатрическую больницу вблизи Новгорода. Период его деятельности в Коломове продолжался около 20 лет. В дальнейшем он заведовал этой клиникой. В Коломове Борис Наумович женился на полурусской-полугречанке Варваре Лукинишне Попадичевой. От этого брака у него было четверо детей: Лена (умерла в начале 90-х годов), Женя, Борис (любимец отца), Лена, названная так в память о старшей сестре.

Крупные события этого периода жизни Бориса Наумовича — болезнь известного писателя второй половины XIX века Глеба Успенского, который был властителем дум революционно-демократической молодежи той эпохи. Когда он заболел психической болезнью, то Борис Наумович, знавший и любивший его, взялся за его лечение. Поселил он его не в лечебнице, а у себя дома<sup>1</sup>. Дневник доктора Б. Н. Синани напечатан в Летописи Гослитмузея № 4 (Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина 36-19/119-4 1902 г.) Лечение длилось 13 лет с переменным успехом. После смерти Глеба Успенского В. Г. Короленко в 1902 г. в статье «О Глебе Ивановиче Успенском», вспоминая последний его приезд в Нижний Новгород, писал: «Он уехал и уже навсегда ушел от нас — внешним образом — в Коломово, внутренним — в свои видения. Все, что могла сделать наука, согретая личной привязанностью и любовью, — все, кажется, было сделано». Ранее, сразу же после отъезда Глеба Ивановича — Владимир Галактионович писал Борису Наумовичу 7 января 1894 г.: «Мы все глубоко благодарны Вам за Ваши усилия вырвать у страшной болезни этого всем дорогого человека».

Конец жизни Бориса Наумовича в Коломове был

---

<sup>1</sup> Кстати, это не единичный случай: Борис Степанович Житков рассказывал мне, что, когда заболела его сестра Вера, Борис Наумович, бывший другом семьи Житковых, тоже поселил ее у себя дома, откуда она вернулась в семью совсем здоровой.



омрачен двумя для него тяжелыми утратами: первая — болезнь и смерть Глеба Ивановича Успенского, вторая — смерть его жены Варвары Лукинишны, произошедшая годом раньше смерти Успенского. Умерла она от туберкулеза. На попечении Бориса Наумовича осталось трое детей: Женя пятнадцати лет, Боря — двенадцати лет и Лена семи лет. Чтобы иметь возможность их растить, воспитывать и уделять им время, Борис Наумович переезжает в Петербург и начинает заниматься частной практикой.

Среди его пациентов были большей частью люди умственного труда: писатели, преподаватели, артисты. Многие надолго сохранили о нем благодарную память. Вопросы воспитания собственных детей требовали много сил и времени. Система воспитания, которой в детстве подвергался он сам, вызывала у него отвращение, и он предоставил своим детям полную свободу. Женя была помещена в хорошую гимназию, Боря — в Тенишевское училище, маленькая Лена позже поступила в гимназию Стоюниной, которую и окончила в свое время. После окончания Женей гимназии было решено отправить ее для продолжения образования в Париж. Через год она вернулась под отчий кров и родила дочку Галю. Отцом Гали (и второго ребенка — Вадима) был политэмигрант А. Кудрявцев, в планы которого, видимо, не входила женитьба на Жене. Личность Кудрявцева (весьма сомнительная во всех отношениях) для Бориса Наумовича была тяжким крестом.

В 1908 г. Синани познакомилась с семьей редактора детского журнала «Всходы» Эдуардом Станиславовичем Монвиж-Монтвидом. Молодежь быстро подружилась. Кончилось это сближение двух семей тем, что Боря Синани женился на младшей дочери Эдуарда Станиславовича Александре (Але). Ему было 20 лет в 1909 г., а Але — 18 лет. Родители боялись такого раннего брака, но обоюдная любовь с первого взгляда все решила иначе. В 1910 г. у них родился сын Игорь, а еще через год от скоротечной хохотки умер Боря. В это же время брат Али — Виктор Эдуардович Монвиж-Монтвид сделал предложение Жене Синани. Таким образом семьи соединились двойными узлами.

Возвращаясь назад, можно с уверенностью сказать, что из всех детей Борис Наумович больше всего был привязан к Борису и очень тяжело переносил его гибель. Видимо, они были близки духовно и по характеру мыш-

ления. После смерти Бориса он перенес свою любовь на его сына Игоря. Несмотря на то что Борис Наумович встречался с внуком в раннем детстве, Игорь Борисович до сих пор помнит эти встречи с дедом. Мало того, с возрастом он все больше находит в себе черт деда и отца.

Женины дети — Галя и Дима — часто огорчали деда, и он не был с ними близок, не был он близок и с дочерью Женей. Молчаливая Леночка заботилась о повседневных нуждах отца, но этим и ограничивалось их общение. Самуил Соломонович Синани — племянник Бориса Наумовича в своих воспоминаниях о нем пишет: «... бывая в дядиной семье, я заметил, что он почти всегда один, иногда — с Игорьком».

Когда Аля в 1913 г. вышла второй раз замуж за Адолия Деллэ, то уехала к нему с Игорем, но иногда его привозили к деду, иногда дед навещал внука.

Борис Наумович был больным человеком. После смерти жены обострилась его язва желудка. Были и учащающиеся с возрастом кровотечения. Как врач, он ясно представлял себе происходящий процесс, и сам следил за строжайшей диетой. Понимал, что судьба слишком многих людей зависит от его состояния — и его детей и его больных.

В своей книге «Шум времени» (изд-во «Время», 1925 г.) Осип Манделъштам талантливо описывает свою юношескую дружбу с Борисом Синани и его самого. Все, кто помнит (или помнил) Бориса в юности, сравнивают его описание в «Шуме времени» с живописным наброском, сделанным рукой большого мастера. Но в портрете его отца слишком много шаржированного, почти карикатурного. Молодой в то время Манделъштам не видел трагичности образа старого Синани, ничего не сказал о его безграничной доброте, о неиссякаемом милосердии в сочетании с чрезвычайной силой воли, а ведь именно сочетание этих черт и делало Бориса Наумовича врачом милостию Божьей.

Второе, в чем ошибается Манделъштам, касается отношений Бориса Наумовича с молодым поколением. «По конституции дома, — пишет Манделъштам в своем очерке «Семья Синани», — тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной в «Войне и мире». Не то что «не смел», а не считал возможным стеснять молодых своим присутствием и омрачать их

грузом своего горя. Поведение это естественно вытекало из принципа предоставления им полной свободы». Более объективно, хотя и не так талантливо и своеобразно высказывалась о Борисе Наумовиче одна из его многих пациенток писательница Маргарита Владимировна Алтаева-Ямщикова (псевдоним ее Ал. Алтаев). В своем очерке «Всюду жизнь» (Гос. издательство худ. литературы, 1957 г., в сб. статей «Памятные встречи») автор приводит свой разговор со Стефанией Степановной Караскевич-Ющенко, тоже знавшей доктора Синани. «Я знала Синани, — рассказывает в одной из бесед Стефания Степановна, — недаром Борис Наумович... был любимым врачом и другом Глеба Ивановича Успенского. Не думайте, что врач не способен любить своего больного, если даже он доходит до такого безнадежного состояния, в каком находился Успенский...»

Я, в свою очередь, рассказала Стефании Степановне о странностях характера этого врача, которого хорошо знала и который дарил меня своим доверием и дружбой в то тяжелое для него время, когда он потерял своего единственного сына.

По лицу Стефании Степановны прошла тень грусти... «Представьте, и мне когда-то пришлось утешать этого колючего человека... Знаете ли Вы, что в пору Турецкой войны, когда он был полковым врачом и жил в палатке на балканских высотах, его называли в полку «общественная совесть»? Не было ни одного дела, ни одного спора или недоразумения, чтобы не обращались к суду Синани, и суду этому безусловно подчинялись все врачи на фронте. Он был резок, некоторым казался грубым, но всегда был искренен.

Я вспомнила лицо Синани, его серые глаза, пронизывающий взгляд из-под очков, его резкость, и, в то же время почти женскую мягкость с детьми, и его бескорыстность, диктовавшую ему такую простоту жизни, несмотря на громадную известность. Я тихо сказала: «Он очень несчастлив. У него ведь умер от туберкулеза сын... этот сильный человек, преподававший мне правила жизни, однажды заплакал...»

Из воспоминаний С. С. Синани тоже можно сделать вывод, что характер Бориса Наумовича, несмотря на принципиальность, безупречную честность и чистоту души был нелегким. Иногда это сказывалось и на отношениях с самыми близкими людьми: жена его Варвара Лукинишна

выросла в религиозной семье и привыкла к выполнению религиозных обрядов, но старалась делать это тайно от Бориса Наумовича, который, будучи убежденным атеистом, каждый раз упрекал ее в невежестве и недомыслии. Видимо, по причине атеизма Бориса Наумовича, они не были соединены церковным браком, о чем свидетельствует запись в метрике их сына.

Врачебные принципы Бориса Наумовича опережали его время. Сам Борис Наумович о своем методе пишет следующее: «...я все более и более стал избегать внушения относительно сна и все более и более напирал на внушение доверия ко мне и на сосредоточивание внимания на том, что я говорю. В конце концов я дошел до того, что у многих больных обхожусь без всякого упоминания о сне...» И далее: «... уже от Вашего понимания болезни зависит, в каком порядке делать внушение. От Вашего понимания характера больного зависит, на каком языке с ним говорить, для того чтобы он Вас понял вполне. От Вашего такта зависит, как облечь Ваши внушения в надлежащую форму...» (Б. Н. Синани. «О лечении внушением». «Новгород. 1910 г. С. 13, 15). Впервые именно Борис Наумович применил лечение внушением от алкоголизма. Только в сороковых годах нашего века эта точка зрения стала популярной в США и только в последние годы у нас в Советском Союзе, однако о приоритете Бориса Наумовича Синани в этой области не упоминается нигде.

Г. С. КУЗИНА

#### МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА КУЗИНА<sup>1</sup>

Борис Сергеевич родился в Москве. Коренными москвичами были и отец и мать брата.

Отец был бухгалтером. На этот заработок содержал семью. Нас было четверо детей. Свою профессию он не любил. Все свободное время отдавал любимому делу — собирал бабочек. Был членом фаунистической комиссии,

<sup>1</sup> Кузин Борис Сергеевич (1903—1973) — биолог, близкий друг О. Э. Мандельштама в 1930-х годах, адресат стихотворения «К немецкой речи» и персонаж «Путешествия в Армению». См. его воспоминания о поэте и письма поэта к нему в журнале «Вопросы истории естествознания и техники». 1987. № 3. Публикуемые материалы написаны сестрой Б. С. Кузина в середине 1980-х годов.

состоящей при зоологическом отделении Московского университета. За свою жизнь составил порядочную коллекцию, которую по его смерти приобрел у нас Ташкентский университет.

В 1910 году семья переехала за город, на ст. Удельная, по Казанской жел. д. Жить среди природы была давняя мечта отца. Брату было тогда семь лет. В Удельной прошло все его детство.

В доме у нас постоянно обитали всякие животные. Было много собак, жили кролики, морские свинки, как-то разводились белые мыши и др. В садках кормились гусеницы, выводились бабочки.

Отец часто ходил на экскурсии за бабочками, брал и нас с собой, в более отдаленные места — одного брата. Уже в гимназические годы брат начал собирать насекомых, разбирался в систематике жуков.

Помимо энтомологии, неизменным увлечением отца были иностранные языки. Окончив только четыре класса гимназии, он самостоятельно изучил немецкий, французский и английский языки. Время для изучения языков выкраивал из поездок на работу, благо поезд до Москвы шел целый час.

Эта любовь к языкам передалась брату, недаром он знал их так много и постоянно, при всех обстоятельствах, изучал все новые. Любовь эта была у него с юных лет. Когда в школе был отменен латинский язык, он, единственный из всего класса, продолжал изучать его. Ему необходимо было читать Горация в подлиннике. Для этого он ходил на дом к бывшему директору, в дальнейшем учителю школы, страстному латинисту, чему тот был очень доволен.

Учился брат в Красково-Малаховской опытно-показательной школе. Находилась она в Малаховке рядом с Удельной. До революции это была гимназия, причем несколько необычного типа. Построена она была на общественных началах, имела мужские права, но обучение было совместное. Учителя, как правило, были хорошие, а после революции переехал сюда ряд <вовсе> превосходных учителей. К ученикам относились внимательно. Ценилось общее развитие.

Брат учился превосходно и, хотя часто хворал, т. к. ухитрялся подцепить все инфекционные болезни, на успеваемости это никак не отражалось. Более чем хорошие отзывы об его успехах повергали отца в изумление. Ему

казалось невероятным, как можно без видимых усилий, так легко все схватывать. Относился он к этому даже с некоторым недоверием.

Все предметы равно легко давались брату, но предпочтение он отдавал литературе. «Литература,— писал он,— более всего другого (кроме, разве, музыки) наполняла мою жизнь с самого детства. В школьные годы (в старших классах) мне было с кем говорить о ней. Наши учителя словесности по-настоящему любили свой предмет, прекрасно его преподавали и учили не только на уроках, но и при постоянном общении вне класса. Были у меня собеседники на литературные темы и среди школьных товарищей».

Отношения с учителями были дружеские, это было в традиции школы. У брата эта дружба продолжалась и в последующие годы.

Надо сказать, что он, вообще, с детства легко сходился и дружил с людьми самого разного склада и положения. Помню, как во время первой мировой войны, когда в Удельной были расположены воинские части, он завел дружбу с солдатами, быстро проник в казармы и буквально пропал там. Столь же неожиданны были и другие его знакомства.

После смерти отца (январь 1920 г.) семья постепенно переселилась к брату отца, в Москву, на Б. Якиманку. Поселился там и брат.

В конце 1920 г. он поступил в университет на зоологическое отделение. В университете его сразу же привлек в свою группу ассистент Г. А. Кожевникова Е. С. Смирнов. (Г. А. Кожевников заведовал кафедрой зоологии, которая истари называлась Зоологическим музеем).

Е. С. Смирнов знал брата и раньше. Он был знаком с нашим отцом, приезжал к нам в Удельную и совершал совместно с отцом и братом энтомологические экскурсии. Свою группу Е. С. Смирнов составил из студентов, интересующихся энтомологией, главным образом, систематикой. Таким образом, при его содействии брату представилась возможность немедленно приступить к интересным для него занятиям.

Вскоре брат поселился в Зоологическом музее. Случилось так, что потребовалось для охраны Музея, чтобы кто-нибудь ночевал в нем. На это вызвался Е. С. Смирнов, привлек брата и еще одного студента (Б. Б. Родендорфа). Они обосновались в библиотеке музея.

Это была большая удача. Дома было холодно, тесно, заниматься было негде. В музее было просторно, тепло, был газ, на котором можно было кипятить чай. А главное — заниматься хоть с утра до ночи. Домой брат приходил только обедать.

Университет того времени, по свидетельству брата, имел несколько иной характер. Основная научная работа сосредоточилась в университете, т. к. специальных научных заведений тогда еще было мало. Само преподавание было тесно связано с научной работой. Было меньше ученичества, посещение лекций было не обязательным, предоставлялась большая возможность для самостоятельных занятий. «Студент, — писал брат, — при желании и при наличии у него необходимой предварительной подготовки (и обязательно при знании хотя бы одного-двух иностранных языков) мог хоть с самого первого дня входить в науку». Эта возможность у брата была. «...Мы очень нерадиво выполняли обязательную учебную программу, — писал он, — рьяно вгрызались в науки и много веселились». А веселиться он любил и умел.

Знаю, что жизнь его в университете протекала достаточно бурно, был он лицом весьма заметным. Товарищеские отношения связывали его не только с зоологами других специальностей, но и других отделений, с преподавателями. Да и вся жизнь университета в первые годы после революции отличалась от последующей поры. Но протекало это не на моих глазах и писать о том я не могу.

По окончании курса брат продолжал жить и работать в музее. Жил он там до 30 года. Последние пять лет — один. Сюда приходили к нему друзья, приятели. За годы университетской жизни скопилось их достаточно. Искренняя привязанность к брату у многих из них сохранилась до конца жизни.

Не следует думать, что университетом замыкался круг интересов брата. Страстный любитель музыки, он часто ходил на концерты. По-прежнему литература наполняла его жизнь. У него был достаточно широкий круг знакомств с интересными для него людьми вне университета.

## СТАТЬИ

ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ

### ОСЬ

(Звукосимвол О. Мандельштама)

Для звуков жизни не щадить  
А. С. Пушкин

«Господи, сказал я по ошибке», — написал Мандельштам в 1912 году. Согласно традиционному толкованию, ошибка была в том, что суетно нарушен ветхозаветный запрет на произнесение имени Божьего. В более широком смысле ошибка понимается как профанация несказанного. Против такого толкования нет оснований спорить; оно резонно, но недостаточно, так как слишком отвлекается и отвлекает от самого стихотворения с его разреженной, но цепкой тканью. У Мандельштама «ошибка» конкретнее: я сказал вместо того, чтобы осязать, что и подчеркнуто рифмой «осязать — сказать», противопоставляющей одно слово другому. «Я» не мог осязать «образ... мучительный и зыбкий», но ведь образ и не рассчитан на осязание; образ можно только созерцать и разве что приложиться к нему губами. В стихотворении же образ мучительный и зыбкий именно от невозможности его осязать. Слово «осязать» резко выделено, подчеркнуто рифмой и смыслом; ему придается необычное исключительное значение.

Четверть века спустя, 8 февраля 1937 года, Мандельштам написал:

Вооруженный зреньем узких ос,  
Сосущих ось земную, ось земную,  
Я чую всё, с чем свидетесь пришлось,  
И вспоминаю наизусть и всуе.

Б. Пастернак выделял это стихотворение среди других воронежских стихов. Впечатляющая сила усугубляется тем, что тему и проблематику невозможно сформулиро-

вать вне самого стиха. В то же время стихотворение как нельзя более далеко от иррационалистической стихии сюрреализма с его лихорадочным диктатом спонтанного и подсознательного. Вчитываясь в стихотворение, нельзя не вспомнить, как настойчиво Мандельштам называл себя «смысловиком». «Осы» основаны на игре смыслов, непрерывно переливающихся друг во друга, друг друга взрывающих и восстанавливающих звуком и в звуке. Такая игра выходит за пределы отдельного стихотворения, пронизывает целые циклы и книги.

В стихотворении 1920 г. «Сёстры тяжесть и нежность» «осы тяжелую розу сосут». Очевидно, сосать — функция ос в поэзии Мандельштама. Функция эта засвидетельствована звуком, что вряд ли совпадает со звукописью в привычном литературоведческом понимании. Слишком осмыслена такая звукопись. В «Осах» (1937) осы, сосание и ось соединяются в непрерывном сцеплении, когда одно влечет за собой другие, остальные свои смыслочлены. В известной «Оде», писавшейся в 1937 г. одновременно с «Осами», названа «мира ось» и «сходства ось», но подобная «ось» не существует без тех же сосущих и «узких» ос. Ода, естественно, связывается через свой предмет со стихотворением «Мы живем, под собою не чуя страны». В последней строке этого стихотворения «широкая грудь осетина», «осевые» же осы узкие; так через демонстративное противопоставление в звукоряд включается «осетин».

По свидетельству мемуариста, Мандельштам был недоволен последними двумя строками стихотворения. Здравая рассудительность противилась голосу глубинной поэтической интуиции, через которую обычно говорит судьба. Последняя строка, действительно, как бы повисает в воздухе, изолированная внутри изолированного стихотворения. В таком случае «осетин» воспринимается как анкетно-биографическая справка, необязательная конкретизация «кремлевского горца». Да и что страшного в слове «осетин?» «Осетин» в стихотворении Мандельштама не имеет ничего общего с национальностью. Это значащее собственное имя. Основная примета осетина — осиное сосание, но сосет он уже не тяжелую розу, а малину казней, человеческую кровь. Такова вампирическая природа «душегубца и мужикоборца».

Судьба говорит в звуке, пренебрегая «дурно пахнущими мертвыми словами» (Гумилев). Звук же произрастает

из жизни и вырастает в нее, иногда ее разрушая. В 1932 г. за год до написания рокового стихотворения Мандельштам в Болшеве общался и дружил с настоящей осетинкой, похожей на Анну Ахматову, и в ее устах особое пророческое значение приобретало имя поэта «Ося», то есть, существо нежное, женственно-уязвимое, обреченное. Оськой звался добрый конвоир, сопровождавший Мандельштама в первую ссылку за стихотворение про кремлевского осетина. И наконец на смерть Мандельштам был отправлен по приговору ОСО.

Имя определяет в жизни человека больше, чем принято думать. Имя неотделимо от личности и от судьбы. Не случайно такое пристальное внимание уделял имени П. А. Флоренский. Не будет преувеличением сказать, что поэзия Мандельштама — во многих отношениях разветвленная проекция его имени и фамилии в ткань стиха. У Мандельштама есть стихи, в которых такая проекция обнажена:

Мало в нем было линейного,  
Нрава от был не лилейного,  
И потому эта улица  
Или, верней, эта яма  
Так и зовется по имени  
Этого Мандельштама.

Иногда поэт шифрует свою фамилию (достаточно прозрачно). В стихотворении «Старый Крым» привлекают к себе внимание загадочные строки:

Всё так же хороша рассеянная даль —  
Деревья, почками набухшие на малость,  
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость  
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Миндаль возбуждает жалость, потому что это сам гонимый неприкаянный поэт. Фамилия «Мандельштам» означает «миндальный ствол». Вчерашняя глупость — это верность живым и мертвым, все то, что заставляло Мандельштама считать себя последним христианско-эллинистическим поэтом в России. Корни и отростки миндального ствола охватывают всё Средиземноморье. Отсюда Иосиф Прекрасный, оживающий в стихах Мандельштама за двадцать лет до «Старого Крыма», в 1913 г.:

Отравлен хлеб, и воздух выпит,  
Как трудно раны врачевать!  
Иосиф, проданный в Египет,  
Не мог сильнее горевать!

Но ведь имя Осип — русский вариант библейского имени Иосиф, и лирическое самоотожествление с библейским Иосифом не таится ли в самых истоках мандельштамовского творчества, предопределяя его поэзию и судьбу? В стихотворении 1913 г. скиталец-бедуин уже откровенно отождествляется с певцом-поэтом. Комплексом Иосифа обусловлена египетская тема в творчестве Мандельштама. В том же 1913 г. Мандельштам воспевает «загробных радостей вещественный залог», мудрую упорядоченность египетской жизни. Представляется даже, что имя «София» приходит в лирику Мандельштама не под влиянием Владимира Соловьева и символистов, а как анаграмма имени «Иосиф». Отсюда неповторимо личная нота в стихах, посвященных Айя-Софии, гармоничному христианскому зодчеству: «Соборы вечные Софии и Петра» (Софии — Иосиф). Тем более поражают строки в одном из последних стихотворений, написанном за два месяца до последнего ареста:

Украшался отборной собачиной  
Египтян государственный стыд,  
Мертвецов наделял всякой всячиной  
И торчит пустячком пирамид.

Эти строки, напоминающие скорее раннего Маяковского, чем утонченно-сдержанного молодого Мандельштама, отвергают монументальный архетип социалистического реализма, а «пустячок пирамид» — не мавзолее ли как пародия на пирамиды? Так или иначе эти строки тоже внушены комплексом Иосифа, чей образ у позднего Мандельштама раздваивается.

Сталина звали Иосиф, и сталинский миф подразумевал в подтексте аналогию между Иосифом Иаковлевым в Египте и Иосифом Джугашвили в России. Не случайно Мандельштам подчеркивает в своей оде: «Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!» Новый Иосиф — тоже провиденциальный иноплеменник. Он тоже «горечь знал тюрьмы». Библейский Иосиф разработал первый в истории человечества план (семилетний). Аналогия со сталинскими пятилетками прямо-таки напрашивалась. Что же касается жестокости, то без нее вряд ли обходился библейский Иосиф, разрушавший патриархальный египетский жизненный уклад (своего рода коллективизация!). И тот и другой Иосиф выступали от лица будущего: «Само грядущее — дружина мудреца»... «И каждое гумно и каждая

копна сильна, убориста, умна — добро живое», — так и вспоминаются снопы братьев, кланяющиеся в пророческом сне снопу Иосифа, семь урожайных лет, а потом голодные годы, «в туфлях войлочных голодные крестьяне»... Но особенно интересны строки, в которых прямо назван близнец:

И в дружбы мудрых глаз найду для близнеца,  
Какого не скажу, то выражение, близясь  
К которому, к нему, — вдруг узнаёшь отца...

В этих строках ключ к пресловутой «Оде». Близнец, «какой не скажу», — очевидно Иосиф второй. Иосиф и Осип — мифические близнецы. Поэт в своем близнеце вдруг узнает отца (семейное сходство и воспоминание о «большевистской проповеди» Эмиля Вениаминовича в письме 1931 года). Но главное, опорное слово «Оды» — ось, и характерно, что эта ось отделена от великого близнеца и отчасти даже противопоставлена ему: «Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось»... Когда «хищная рука» поэта ловит «лишь сходства ось», это не только сходство оригинала и портрета, рисуемого Прометеевым угольком, это сходство Иосифа с Осипом, сходство двойников-антиподов, сходство непримиримого противопоставления. Вся ода построена на скачках от Иосифа к Осипу, и от Осипа к Иосифу, и в последней строфе торжествует Осип, ось, «имя славное для сжатых губ чтеца» (иначе почему же губы сжаты? Для славословия Иосифу великому губы были тогда разжаты...).

Существенно, что уже в 1924 году Мандельштам писал: «О, как противен мне какой-то соименник, то был не я, то был другой». Эти строки вряд ли могли относиться к Сталину, но в них поистине пророческое предчувствие. Любопытно, что и в отношении Сталина к Мандельштаму прослеживается некая мистическая взаимность, напоминающая близнецный миф. При первом аресте поэта Сталин трактует его дело чуть ли не как семейный инцидент, решаемый в кругу друзей (телефонный звонок Пастернаку). Странную шепетильность вождя нельзя объяснить известностью Мандельштама. Гумилев, куда более известный, был уничтожен без всяких церемоний и околичностей. Самому Мандельштаму чудилось что-то суеверное в поведении Сталина: «Думает, что мы можем нашаманить...» (Мандельштам Н. Я. «Воспоминания». М., 1989, с. 139).

Соперничество Иосифа и Осипа сказывается в двух других стихотворениях. В 1936 г. Мандельштам пишет стихотворение «Внутри горы бездействует кумир». Анализ М. Б. Мейлаха подтверждает, что стихотворение относится к сталинской теме. При этом Мейлах замечает, «что в мифологических представлениях мировой остью является, наряду с мировым деревом, именно гора»... («Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама», Воронеж, 1990. С. 421). А в 1935 г. написано стихотворение, доработанное в 1936 г.:

Не мучнистой бабочкою белой  
В землю я заёмный прах верну —  
Я хочу, чтоб мыслящее тело  
Превратилось в улицу, в страну,  
Позвоночное, обугленное тело,  
Сознающее свою длину.

Кумир внутри горы — ложная ось мира, мертвая кость («кость и кость «Оды»), позвоночное тело, сознающее свою длину, — истинная земная ось, сам поэт, с его именем. Так двузвучие этого имени «ОС» заряжается энергетическим смыслом, распространяющимся на всё творчество поэта в его синхронистическую целостность. Смысл варьируется, но сохраняется при перестановке звуков. Отсюда отвратительный двойник, соименник, «осетин», Сосо, чудовищный антипод Оси, но отсюда же друг-собеседник, собор и сознающая себя ось.

«Вооруженный зреньем узких ос», поэт чувствует все, вливается в жизнь, чтобы «услышать ось земную, ось земную»... Впечатляющий повтор засасывает читателя-собеседника<sup>1</sup>. Осы сосут земную ось, чтобы самим стать земной остью. Поэт — одновременно оса и земная ось, потому что ни то, ни другое не самодостаточно, то и другое нуждается друг в друге, чтобы, присасываясь, образовать некую целостность. Этому соответствует божественный сосуд Евхаристии, осуществившееся приобщение, на что не способен кровожадный «осетин», каменеющий разрушитель живой целостности. Уже в раннем стихотворении Мандельштама целительная мощь его библейско-русского имени концентрируется в глаголе «осязать». Простое упоминание Бога ошибочно и даже кощунственно без приобщения, если не воспринимаешь Бога всем своим осиным, осевым существом, соединяющим в личном опыте Ветхий и Новый Завет.

<sup>1</sup> Ср., например, стихотворение А. Вознесенского «Догадка».

ЛЕОНИД КАЦИС

«ДАЙТЕ ТЮТЧЕВУ СТРЕКОЗУ...»  
(Из комментария к возможному подтексту)

Постоянный и внимательный читатель Мандельштама давно уже привык к тому, что за первым слоем стихов поэта всегда что-то стоит. Цитата ли это, факт, не слишком известный сегодня и т. д. Часто трудно не столько разгадать, в чем дело, сколько найти повод написания стихотворения. На первый взгляд все сказанное менее всего относится к стихотворению «Дайте Тютчеву стрекозу...». В нем сам Мандельштам предлагает читателю ответить на вопрос:

Догадайтесь почему!

И комментаторы более или менее подробно и точно отвечают, «догадываясь», находя стрекозу у Тютчева, розу у Веневитинова и т. д. И все-таки опыт чтения Мандельштама подсказывает, что вряд ли стал бы он писать стихотворение, служащее лишь для проверки культурного уровня и начитанности своих читателей и комментаторов. Здесь перед нами тот случай, когда, даже зная все источники стихотворения, нельзя сформулировать его идею. А сформулировать её тем более важно, что разбираемое стихотворение предшествует «Стихам о русской поэзии».

Кажущаяся понятность стихотворения «Дайте Тютчеву стрекозу...» связана, судя по всему, с обилием имен великих поэтов, открыто названных Мандельштамом. Однако вспомним, что говорил Мандельштам о черновиках в «Разговоре о Данте»: «Сохранность черновика — закон сохранения энергетики произведения». К счастью, сохранились варианты интересующего нас стихотворения Мандельштама. Характерно, что из трех выпавших впоследствии строф лишь одна вводит имя поэта; две другие никаких имен не содержат. Если вставить в окончательный текст стихотворения все выпавшие или замененные строфы, то мы получим структуру очень близкую к первому стихотворению из «Стихов о русской поэзии», где в первой строфе мы находим имя Державина, во второй имя Языкова. Обе строфы содержат достаточно информации для

Толчком к написанию этой работы послужили содержательные беседы с В. А. Сайтановым, которому мы приносим нашу искреннюю благодарность.

того, чтобы соотнести их и с Державиным, и с Языковым, даже если бы имена поэтов не были названы. Ср. в связи с Державиным: «ты у нас хитрее лиса» и «татарского кумыса» с «Видением Мурзы». Строки же из строфы с Боратынским не дают нам возможности однозначно говорить именно о нем, когда имя поэта не названо:

Тихо шаркают подошвы  
Недочитанных стихов,  
И плывут без всякой прошвы  
Наволочки облаков.

Только зная, о ком идет речь, мы можем соотнести стихи об облаках с «Недоноском» Боратынского:

Блещет солнце: радость мне!  
С животворными лучами  
Я играю в вышине,  
И всеильными крылами  
Ластюсь к ним как облачко.

«Поэт-облачко» наводит на мысль о Маяковском, и, видимо, не случайно — его фамилия точно ложится в размер фамилии Боратынского:

...не мужчина, а облако в штанах.

Если уже говорить о «прошве»<sup>1</sup>, да и о «подошвах», то и они уместнее в связи со «штанами» Маяковского. Заметим, что имя Маяковского куда лучше соответствует как первому, так и второму варианту. А нет ли в стихотворении Мандельштама «второго слоя», не связанного с поиском похожих строк у поэтов «Золотого века»? Для проверки обратимся к последним строкам стихотворения Мандельштама:

И всегда одышкой болен  
Фета жирный карандаш

В свое время Г. Левинтон совершенно правильно указал на то, что «жирность» карандаша Фета связана со смыслом его фамилии (по-русски — «жирный»). Но снова зададим себе вопрос: узнали бы мы Фета, не стой рядом его фамилия, из строк стихотворения Мандельштама? «Личная» одышка старого Фета не самый лучший признак для «опознания» поэта. Если же мы вспомним о «серебря-

<sup>1</sup> Ср., впрочем, и основу фамилии Боратынского — «борт».

ном» веке, как и в первом случае, то поэта с поэтической одышкой мы вспомним без труда. Особенно, если учесть то, что писал о нем сам Мандельштам: «Когда явился Фет, русскую поэзию взбудоражило

серебро и колыханье сонного ручья,—

а уходя Фет сказал:

и горящею солью нетленных речей.

Эта горящая соль каких-то речей, этот посвист, шелканье, шелестение, сверканье, плеск, полнота звука, полнота жизни, полноводье образов и чувств с неслыханной силой воспрянули в поэзии Пастернака. Перед нами значительное патриархальное явление русской поэзии Фета («Заметки о поэзии»).

Эти строки Мандельштама позволяют прочесть последние стихи «Дайте Тютчеву стрекозу...» следующим образом:

И всегда одышкой болен  
Пастернака карандаш.

Итак, уже в двух случаях возможны «варианты». А в других? Так имя Тютчева в первой строке кажется вполне можно заменить на самого автора, тем более что «стрекоза» скорее мандельштамовский, нежели тютчевский признак. Наличие приводимого комментатором «Библиотеки поэта» стихотворения с упоминанием «голоса стрекозы» у Тютчева снова никак не может служить знаком этого поэта. Теперь достаточно заменить «Тютчева» на «Осипа», как получим совершенно ясную строку, а заодно и разгадку мандельштамовской загадки: стрекозу-то надо дать Мандельштаму:

Дайте *Осипу*<sup>2</sup> стрекозу...

Это место вызвало сомнение и у Н. Я. Мандельштам: «Я так и не догадалась, что за стрекоза, которую он предлагает дать Тютчеву. У самого Тютчева есть сколько угодно мотыльков, но стрекозы нет и в помине (в примечании И. М. Семенко приводит нужные строки Тютчева, те же,

<sup>2</sup> В беседе с нами Г. А. Левинтон предложил иной, не менее правдоподобный вариант «Дайте *Белому* стрекозу» с очевидным отсылком к будущим стихам памяти А. Белого и самому А. Белому.



что и Н. И. Харджиев.— Л. К.). Может, в письмах? Может, в чьей-то статье говорится о стрекозе в связи с Тютчевым? Или — и эта догадка мне кажется имеющей основания — О. М. приписал стрекоз Алексея Толстого Тютчеву?.. Ведь у Алексея Толстого это одно из тех звучных хрестоматийных стихотворений, которые он не раз поминал (напр. в «Путешествии в Армению»)»<sup>3</sup>.

Высказывание Н. Я. Мандельштам лишний раз подтверждает наше предположение о том, что признаки поэтов в «Дайте Тютчеву стрекозу...» далеко не очевидны даже опытным читателям. Правда, в отличие от Н. Я. Мандельштам, у нас нет ни права, ни оснований подозревать Мандельштама в ошибке, тем более что одну стрекозу у Тютчева все же удалось найти.

Следующее за Тютчевым имя — Веневитинов. Найти соответствующую фамилию среди поэтов «серебряного века», как кажется, невозможно, тем более что это должен быть значимый для Мандельштама поэт. Но если в случае с Фетом мы слили два слова «Фета жирный» в одно «Пастернака» (это, кстати, придало строке упругость и фонетическое единство), то здесь вспомним, что фамилия Веневитинова воспринималась современниками Мандельштама иронически как имя и фамилия. Так, например, в «Записках поэта» Сельвинского приводится шутка, приписываемая им Арго, который обнаружил в поэзии пушкинской эпохи двух поэтов «с явственным кошерным привкусом: Веню Витинова и Беню Диктова». Это касается структуры фамилии, а если говорить всерьез, то рано ушедший и не раскрывшийся до конца поэт Веневитинов вполне сопоставим с Гумилевым. Структура же строки у Мандельштама совершенно точно сохраняется, если вспомнить, что Мандельштам называл Гумилева, например в письме к Ахматовой, Коля. Тогда разбираемая строка будет выглядеть следующим образом:

*Гумилеву Коле — розу...*

Причем в таком обращении к ушедшему поэту нет ни тени фамильярности.

До сих пор мы рассматривали те строки стихотворения Мандельштама, в которых были названы те или иные имена. Но комментаторами давно установлено, что «пер-

<sup>3</sup> Мандельштам Н. Я. Комментарий к стихам 1930—1937 гг. / Жизнь и творчество Осипа Мандельштама. — Воронеж, 1990. С. 223—224.

вень» из следующей строки принадлежит Пушкину. Естественно, говорить о поэзии «Золотого века» без него бессмысленно. Впрочем, так же как и о поэзии «серебряного века» без Анненского. Но он стоит в стихотворении Мандельштама рядом с Пушкиным — это Ник. Т. О. — псевдоним Анненского. Замечательно, что оба центра поэзии своих эпох Мандельштамом зашифрованы. Однако и не узнать их невозможно. С Пушкиным так и произошло. Что же касается Анненского, то для «отгадки» его псевдонима надо было лишь подумать о его времени. И так же, как мы не сможем «вставить» Пушкина в стихи Мандельштама, Анненский останется в стихах своим псевдонимом. Заметим, что смысл этой строки может быть и в том, что «двойников» у этих поэтов быть по Мандельштаму не может. Кроме того, даже если читатель совершенно не принимает весь наш подход, смысл строки:

Ну, а перстень — никому!

все равно может включать в себя обоих. С одной стороны, пушкинский перстень никому не принадлежит, а с другой — наследником его является Анненский.

Обратимся теперь к строфе, выпавшей из мандельштамовского стихотворения, в которой также упомянуто имя поэта:

А еще богохранима,  
На гвоздях торчит всегда  
У ворот Ерусалима  
Хомякова борода.

Н. И. Харджиев, понятно, указывает на соответствующее стихотворение А. С. Хомякова с упоминанием «ворот Ерусалима». Все, кажется, ясно. Но при нашем подходе — не все. На месте Хомякова может оказаться и другой поэт — это Владимир Соловьев. Тем более, что ему принадлежит стихотворение «Кумир Небукаднецара», о котором сам Соловьев писал: «Если бы встретились цензурные затруднения, то существует хороший прецедент: стихотворение Хомякова на ту же тему, но столь же резкое по содержанию»<sup>4</sup>. Это письмо опубликовано в 1913 году.

При этом и у А. С. Хомякова, и у В. С. Соловьева речь идет об одном и том же персонаже — Навуходноносе, разрушителе Иерусалима.

<sup>4</sup> Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 299.

Итак, некоторые итоги. Стихотворение Мандельштама содержит два плана — «золотой» и «серебряный» века русской поэзии. В обоих случаях в стихотворении указано семь поэтов. Это число наводит на догадку: не Плеяды ли перед нами? Ведь и в пушкинское время, и в двадцатые годы XX века эта идея была очень распространена. Такое понимание стихотворения Мандельштама лишний раз отсылает нас к идее «тоски по мировой культуре», уводя читателя в глубь веков и литератур.

При этом мы допускаем, что не все наши предположения о «втором плане» стихотворения Мандельштама покажутся убедительными всем читателям. Но ведь и реальные Плеяды — от французской до наших дней — далеко не всегда содержали именно семь имен. Их число колебалось, порой существенно. Стихотворение допускает тот же тип прочтения и при неполной замене имен, упомянутых автором. Так до сих пор мы ничего не сказали о строке:

А еще над нами волен  
Лермонтов, мучитель наш...

Разумеется, можно, как и во всех других случаях, не задумываясь, пройти мимо. Но имя Лермонтова прочно связано у Мандельштама с еще одним поэтом «серебряного» века — Хлебниковым. Достаточно вспомнить «Грифельную оду», подробно с этой точки зрения прокомментированную Н. И. Харджиевым<sup>5</sup>.

Имя Хлебникова в сочетании с Лермонтовым возникает и еще раз в творчестве Мандельштама в очень значимом контексте. В «Оде» Мандельштам писал о «дружбе мудрых глаз» «близнеца», в котором он вдруг узнает «отца»<sup>6</sup>. Как показывает анализ «Оды», поэт использовал для создания портрета Сталина портрет Лермонтова из хлебниковского стихотворения «На родине красивой смерти Машуке...». И, на наш взгляд, ответом Мандельштама самому себе были строки в «Стихах о неизвестном солдате»:

И за Лермонтова Михаила  
Я отдам тебе строгий отчет,  
Как сутулого учит могила  
И воздушная яма влечет...

<sup>5</sup> Мандельштам О. Стихотворения. Л. 1973. С. 284.

<sup>6</sup> Кацис Л. Поэт и палач (о «сталинских» стихотворениях О. Мандельштама). // Литературное обозрение. 1991. № 1.

Дантовский след этих строк не вызывает сомнений, но слово «сутулый» применялось к Хлебникову и Лермонтову, а Данта называли «горбун». Быть может, это косвенный след того же приема, который Мандельштам использовал в «Дайте Тютчеву стрекозу...». (Ср. Лермонтова Михаила — Хлебникова Велимира).

Заметим, что и те «замены», которые мы предлагаем, мало отличаются от обычного поиска подтекстов мандельштамовских стихов. Ведь и в других случаях, обнаружив, что та или иная строка, тот или иной образ восходит к тому или иному поэту, мы не спешим подставлять найденные строки в стихотворение Мандельштама. Мы лишь учитываем их существование и связь со смыслом стихов поэта. То же и в случае с заменой имен в разбираемом стихотворении. Именно некоторая загадочность сопоставления (впрочем, учтенная Мандельштамом), нарочитая неточность «знаков» поэтов и создают ситуацию, способствующую поискам чего-то другого, неочевидного. Кроме того, сам характер стихотворения «Дайте Тютчеву стрекозу...» не совсем ясен. Чтобы понять, с чем мы имеем дело, обратимся к истории русской поэзии.

В 1829 году появилось стихотворение А. Пушкина «Собрание насекомых». Пушкин опубликовал его без подстановки имен в свою эпиграмму, предоставив читателям поразмыслить над заполнением пустот и пообещав когда-нибудь выпустить специальную книгу с расшифровкой, которая, разумеется, не появилась. Тогда же сразу появились подстановки. Так, чаще всего приводится погодинская, содержащая фамилии современников. («Вот Каченовский — злой паук» и т. д.). Заметим, что и определения деятелей литературы того времени в «энтомологических» терминах были столь же неопределенны, как и у Мандельштама. В любом случае, пушкинское стихотворение породило несколько вариантов подстановок и замен. Так появилась пародия, подписанная Обезьянин. В ней «насекомые» были заменены на травки и цветы. Выглядело это так:

Вот Чайльд-гарольдия смешная;  
Вот Дон-Жуания моя;  
Вот Дидеротия блажная;  
Вот русской белены семья...

Вот другой пример:

Полтава — Божия коровка,  
Кавказский пленник — злой паук,

Вот Годунов — Российский жук,  
Онегин — тощая пивяка,  
Граф Нулин — мелкая козявка.

Таким образом, стихотворение Пушкина стало своего рода «порождающей грамматикой» для продолжателей, пародистов и т. д. Интересно, что эта «традиция» Мандельштама была продолжена, правда, в значительно более трагическом тоне. В поэме о Мандельштаме рано умерший киевский поэт Л. Киселев писал:

Дайте Тютчеву стрекозу,  
Догадайтесь почему.  
Веневитинову розу...  
Остальных на Колыму.

Дайте пулю Гумилеву,  
Сам предвидел, сам просил.  
Пусть смердит живое слово  
От наркомовских чернил...

В мандельштамовском же тексте мы имеем дело с шуткой, в некотором смысле автопародией. Сейчас нам это непросто понять. Интересно, что и в «Стихах о русской поэзии» мы встречаемся с полным набором тех средств, которые были использованы в «Дайте Тютчеву стрекозу...», и в «Собрании насекомых», и в пародиях на Пушкина. Ср. первые два четверостишия о Державине и Языкове в «Стихах о русской поэзии», набор растений (дуб, клен, перец красный и т. д.) и звери, и насекомые, и т. д. Но это стихотворение, кроме всего прочего, наполнено Маяковским. Ср.: «И угодливо поката //Кажется земля, пока//Шум на шум, как брат на брата, //Восстает изда-лека». Ср.:

Можно  
    убедиться,  
                    что земля поката,—  
сядь  
на собственные ягодицы  
                                    и катись!

Разумеется, нельзя не увидеть здесь и Некрасова:

Идет-гудет зеленый шум...

Это тем более важно, что в черновиках Мандельштама читаем:

У Некрасова<sup>1</sup> тележка  
На торговой мостовой,  
И расхаживает ливень  
С длинной плеткой ручьевой.

Имя Некрасова появилось здесь недаром. Ведь оно возникает в том же «Юбилейном» Маяковского: «Нам стоять почти что рядом://вы на Пе, // а я на Эм», а между Пушкиным и Маяковским — «Некрасов//Коля//, сын покойного Алеши» — «этот нам компания».

Строки же о «громе» у Мандельштама вызывают в памяти хотя бы цветаевское обращение к Маяковскому: «Здорово, бульжный гром...», да и стихотворение самого Маяковского «Шумы, шумики, шумищи». Теперь, судя по всему, у нас есть возможность снова проделать операцию «замены». На сей раз в черновике о Некрасове:

Маяковского тележка  
На торговой мостовой,  
И расхаживает ливень  
С длинной плеткой речьевой.

Последний пример доказывает, на наш взгляд, что подобная рассмотренной нами замена имен вполне возможна у Мандельштама, а пушкинский «ключ» скрыт именно потому, что он и является подтекстом стихов Мандельштама о русской поэзии, где отсутствие Пушкина — зияло бы огромной дырой.

Между прочим, помимо «возможного подтекста» у стихотворения Мандельштама есть и обычный. Вспомним Козьму Прутков и его стихотворение с характерным названием «Честолюбие»:

Дайте силу мне Самсона;  
Дайте мне Сократов ум;  
Дайте легкие Клеона;  
Оглашавшие форум.

Впечатляет набор очень «мандельштамовских» примет в прутковском «Честолюбии».

Для значения инова  
Я исхитил бы из тьмы

<sup>1</sup> Ср. у Б. М. Гаспарова: «Как во многих других случаях, побочный вариант прямо указывает на то, что в основном тексте скрыто за неявной и многослойной реминисценцией, в основном варианте имя Некрасова исчезло из текста, но весь набор мотивов, вызвавший появление этого имени, сохранен». Ср. также раздел 2.3.1 с отмеченной реминисценцией из Маяковского. Гаспаров Б. «Сон о русской поэзии» (О. Мандельштам. «Стихи о русской поэзии». — Stanford Slavonic Studies. Vol. I. 1987. С. 285).

Имя славное Пруtkова,  
Имя грозное Козьмы!<sup>1</sup>

Как видим, Мандельштаму осталось лишь обратиться к просьбе дать что-либо не себе, а другим поэтам. Кроме всего прочего, начало стихотворения «Дайте Тютчеву стрекозу...», начинающегося с имени поэта, при нашем подходе, естественно, обретает некоторый дополнительный смысл.

Итак, перед нами — явная шутка. Стихотворение Мандельштама шуточно не только по своему, скажем так, основному содержанию, когда даже опытный читатель вынужден «догадываться, почему» Мандельштам определил того или иного поэта так, а не иначе. Оно шуточно и в подтексте, восходящем к Козьме Пруtkову. Шуточно оно вероятно, и потому, что не только нам пришло в голову «заменить» имена поэтов, названных Мандельштамом, но и потому, что «упоминательная клавиатура» Мандельштама заставляет порой действовать на грани научного анализа и интуиции. Быть может, кому-нибудь и вообще ничего не надо для полноценного восприятия стихотворения Мандельштама, и наша работа вызовет лишь удивление, если не хуже. Ведь можно преисполниться пиетета по отношению как к Мандельштаму, так и к многократно упомянутым выше поэтам. Но кто, скажите, и по каким признакам может отличить веселое стихотворение от серьезного, когда все они приколоты иголочками в «собрании» Библиотеки поэта, аккуратно пронумерованы и напечатаны все вместе? Все это позволило нам, конечно, с долей самоиронии, предложить свое, пусть не исследование, но толкование «возможного подтекста» мандельштамовского стихотворения вниманию читателей.

*Виктория Швейцер*

## ДЫМШИЦ И МАНДЕЛЬШТАМ

*Светлой памяти Надежды Яковлевны Мандельштам*

Начну с воспоминаний. Как-то летом 1957 года отец, придя домой, радостно сообщил, что в магазине на Ки-

<sup>1</sup> Заметим, что само по себе стихотворение «Честолюбие» не различно в акмеистическом кругу. К вечеру памяти Козьмы Пруtkова 13 января 1913 года была выпущена специальная повестка с текстом «Честолюбия» и на эти слова была исполнена кантата (Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» в кн. «Памятники культуры. Новые открытия. 1983» Л. 1985. С. 204—205.

ровской «записываются на Мандельштама», что он записался и что книга должна вот-вот выйти в Большой серии «Библиотеки поэта». Помню, как я обрадовалась, хотя мне, к тому времени уже окончившей филологический факультет Московского университета, имя Мандельштама было известно лишь понаслышке. Откуда? Официально — из доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», который и в школе, и в университете «проходили» и цитировали весьма усердно. Неофициально — скорее всего от старшего брата, большого любителя и знатока стихов. Помню, что к тому времени мне уже показали квартиру, в которой когда-то жил Мандельштам в «Доме Герцена». Теперь понимаю, что я давным-давно любила «импрессионизм», даже не подозревая, что это — Мандельштам.

Книга Мандельштама, на которую отец так удачно «записался», не вышла ни тогда, ни в последующие годы. Однако стихи его начали пробиваться в журналах, альманахах, рукописных списках. И все же о человеческом облике Мандельштама, о его трагически-страшной жизни я узнала гораздо раньше, чем по-настоящему прочла и полюбила его стихи. Может быть, это даже к лучшему, что «История одного посвящения» Цветаевой, мемуары Эренбурга и «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам, прочитанные задолго до их выхода книгой, внушили мне любовь к этому человеку, восхищение им и удивление его невероятной силой, подготовили к тому, чтобы принять и полюбить его стихи... К чему я пишу все это? А к тому, чтобы дать представление о том, как нужна была книга Мандельштама, как ждали ее те, кто любил русскую поэзию, а Мандельштам знал почти только по имени да по отдельным, иногда случайно попадавшим в поле зрения стихам. Не стану утверждать, что таких людей были миллионы или сотни тысяч — круг ценителей настоящей, а не специфически-эстрадной или почему-либо в данный момент «модной» поэзии, по-моему, всегда весьма ограничен, — но их было много, людей разных возрастов и разной степени осведомленности о Мандельштаме, которым книга его нужна была, «как хлеб», по выражению Цветаевой.

Я не говорю уже о стихах последнего десятилетия жизни поэта, которые почти не были опубликованы, но ведь и книги, вышедшие при его жизни, давным-давно никому не доступны. При тиражах в 2—3 тысячи экземпляров могли ли выжить эти маленькие и тоненькие кни-

жечки? А все-таки выжили. Я знаю старого человека, который, показывая мне поэтические сборники 10-х и 20-х годов, с гордостью говорил: «Я покупал их не у букинистов, а тогда, когда они выходили». В последнем прижизненном сборнике Мандельштама у него вписаны строки и стихи, выброшенные цензурой. И у него же я видела тетрадочку — «самиздат» 30-х годов, составленную из ходивших по рукам стихов Мандельштама и вырезок его стихов, так редко появлявшихся тогда в печати. Там поразило меня четверостишие:

Язык-медведь ворочается глухо  
В пещере рта. И там от псалмопевца  
До Ленина: чтоб небо стало небом.  
Чтоб губы перетрескались, как розовая глина...  
Еще, еще...

«Чтоб небо стало небом» — это известно, это есть в американском трехтомнике среди отрывков из уничтоженных стихов. Но там и контекст другой, и мысль видоизменяется, получая завершение окончательности. Вероятно, то, что я «открыла» для себя в этой маленькой тетрадочке, — лишь какой-то из ранних вариантов так и не дошедшего до нас полностью стихотворения.

Я больше не ребенок.  
Ты, могила,  
Не смей учить горбатого — молчи!  
Я говорю за всех с такою силой,  
Чтоб небо стало небом, чтобы губы  
Потрескались, как розовая глина.

«Язык-медведь ворочается глухо в пещере рта...» Вероятно, действительно, от царя Давида до Ленина всем, кто пытался взывать к человечеству или говорить от его имени; это давалось напряжением воли. «Еще, еще...». Во всяком случае, «от псалмопевца до Ленина» строфа могла быть еще относительно приемлема для цензуры. Но вот уже вместо этих условно обобщенных фигур возникло «я говорю» — я, Поэт, Мандельштам, по понятиям официальным, не имеющий никакого права говорить «за всех». И уже вслух: «Ты, могила, не смей учить горбатого — молчи!» Этот образ еще вернется к Мандельштаму; в 1937 году в «Стихах о неизвестном солдате», о себе, о Лермонтове, о Пушкине — о Поэте:

И за Лермонтова Михаила  
Я отдам тебе строгий отчет,  
Как горбатого учит могила  
И воздушная яма влечет.

Это ответ на собственные надежды выйти из повиновения поэзии, раскрепоститься и начать самому ею управлять.

В письме жене от 28 апреля 1937 г. он строил планы: «Сейчас я буду сильнее стихов. Довольно им помыкать нами. Давай-ка взбунтуемся! Тогда-то стихи запляшут по нашей дудке...» Для Мандельштама «бунт» оказался возможен только в письме, он остался тем «горбатым», которого учит и исправляет могила. Его жизнь оказалась свидетельством тому, что поэт вынужден до конца исполнить свое призвание, чем бы это ни обернулось для него лично. Призвание необоримо, как явления природы: и вот уже небо поэта разворачивается небом над людьми, его запекший рот становится потрескавшейся землей у них под ногами, и он «говорит за всех». Это бесстрашие поэта, готового отвечать за человечество и говорить от его имени, смелость в развитии самой поэтической мысли от одного варианта стихотворения к другому — потрясают. А ведь не исключено, что у каких-нибудь еще стариков лежат подобные этой тетрадочке, в которых «затерялись» мандельштамовские стихи?

Ну а что же книга, обещанная читателям вскоре после XX съезда? Книги не было. Между тем появились в Москве — и даже, говорят, продавались по баснословной цене на «черном» рынке! — тома из американского собрания сочинений Мандельштама. Казалось бы, выход этого собрания должен был поторопить издателей «Библиотеки поэта» — у нас принято таким образом давать «идеологический отпор» зарубежным недругам. Но в данном случае даже это не ускорило дела. Помню, в начале 1966 года зашел разговор с И. Г. Эренбургом: почему до сих пор не издают книгу Мандельштама? Илья Григорьевич сказал, улыбаясь иронически: «Трудно. Они не знают, что из нее выбросить, как будто и нет ничего антисоветского. Вот, если б нашли, что выбросить, можно было бы издавать».

Время от времени возникали слухи, что книга стихов Мандельштама совсем уж, было, напечатана, да предисловие оказалось неудовлетворительным. Потом говорили, что книга уже вышла тиражом в несколько десятков экземпляров «для служебного пользования», что кто-то видел ее в метро у читающего пассажира... Сменили одного автора предисловия, потом второго — ни то, ни другое предисловие кому-то не годилось. Книга не выходила.

Вдруг однажды — телефонный звонок. «Угадайте, кто будет писать предисловие к Мандельштаму?» Я не угадала, конечно. Имя Дымшица просто не могло прийти в голову, ведь он никогда серьезно не занимался поэзией, а писал все то ли про социалистический реализм, то ли про прогрессивную литературу. Правда, однажды, рецензируя Эренбурга, он походя лягнул Мандельштама: «Ставить талантливо, но все же второстепенного поэта Мандельштама в один ряд с этими гигантами (Блоком и Маяковским.— В. Ш.), по-моему, не осмотрительно... Поэты эти (Мандельштам, Цветаева,— В. Ш.) — в прошлом». Так для чего же теперь Дымшицу «второсортный» Мандельштам? И, главное, зачем Мандельштаму Дымшиц? Оказалось — правда. И в литературных кругах стали посмеиваться: «Теперь-то уж Мандельштама издадут хотя бы ради Дымшица». А год спустя, после выхода мандельштамовской книги с предисловием А. Дымшица, одна из сотрудниц Института мировой литературы, где и Дымшиц служил, сказала мне гордо: «Наш Дымшиц пробил все-таки Мандельштама». Сказано это было совершенно искренне, с полным восхищением как Мандельштамом, так и Дымшицем, — и я не нашла, что возразить.

Но все-таки после сорокапятилетнего перерыва наконец-то, выходит книга Мандельштама! И это и, несмотря ни на что, праздник! Несмотря ни на что — это Дымшиц под одной обложкой с Мандельштамом, маленький тираж и то, что я совсем не надеюсь достать эту книгу. Впрочем, понятие «маленький тираж» довольно относительно, ибо шесть (всего шесть!) прижизненных стихотворных сборников Мандельштама имели, по-видимому, такой же общий тираж, как этот однотомник «Библиотеки поэта» — 15 тысяч.

Не знаю, записывались ли «на Мандельштама» в книжных магазинах на этот раз, но в Книжной лавке писатели сами организовали очередь на эту книгу, составляли и проверяли списки, дежурили поочередно чуть ли не целую неделю. Некоторые немногие побаивались: не будет ли такая очередь выглядеть демонстративной? Зато более двухсот счастливых из нее получили Мандельштама. И мне сразу же повезло — мне дали прочесть эту книгу (правда, через несколько месяцев мне повезло еще больше: мне привезли ее из Америки).

Я начала читать ее с предисловия, скорее всего потому, что, получив ее, ехала далеко в метро. Читать стихи в мет-

ро не могу, не умею, а вступительную статью — вполне можно.

Признаюсь, я ревела прямо в метро, читая статью А. Дымшица «Поэзия Осипа Мандельштама». Праздник от этой книги кончился, так и не начавшись.

Я потом слышала в самых либеральных литературных кругах: «Ну, кто же читает Дымшица? Зачем? Главное, что стихи напечатаны». Я с этим категорически не согласна. Это все то же постоянное интеллигентское стремление спрятаться от правды, не знать, лишний раз не огорчиться. Зачем читать эту статью и знать, ценой какой лжи и позора напечатаны стихи Мандельштама? «Ну, кто же будет читать Дымшица?» А я уверена, что большинство обыкновенных читателей, кому попадет эта книга, особенно молодых (тех, кто ничего не знает о Мандельштаме), обязательно прочтет статью Дымшица и получит преднамеренно, злостно искаженное представление о поэте. И многие из них поверят Дымшицу, воспримут все это как правду. «Что написано пером не вырубишь топором». Такие статьи — зло гораздо худшее, чем пресловутый «Доклад Жданова», например. Доклад выражал определенную официальную установку, а статьи вроде Дымшица хотят выглядеть объективными и даже сочувственными.

Мне сразу же захотелось — не возразить Дымшицу, нет, возражать ему смешно, ибо он не хуже меня понимает, что лжет и подтасовывает, а просто сказать ему в глаза, что он бесчестный человек. Понимая, что публично это сделать не удастся, ведь нигде не напечатают отрицательную рецензию на его предисловие, я написала ему письмо. Вот оно:

Александр Львович!

Как Вам не стыдно заведомую ложь выдавать за полуправду о Мандельштаме? Если Вы позволили себе писать о поэте такой высоты и такой судьбы — не оскорбляйте его фальшью, ложью, подтасовками. Не превращайте трагедию в фарс.

На каком основании Вы изображаете Мандельштама таким дервишем, не любящим быта, дома, оседлости, по странной прихоти кочевавшим из города в город и жившим (да еще с женой) у каких-то мифических «поклонников»? Наверное, Мандельштам любил бы свой дом, с необходимыми ему книгами и со своим архивом не меньше, чем Вы или любой другой человек, если б ему дали воз-

возможность иметь свой дом. Разве Вам не приходило в голову, что он вел жизнь не дервиша, а изгоя — и не по прихоти, а в силу невозможности приспособиться? Неужели Вы не догадались, что скитания Мандельштама начались после революции, а до этого у него, очевидно, был дом, куда он мог возвращаться и из Сорбонны и из Гейдельберга? И разве Вам неизвестно, что в 1919 году он дважды сидел в тюрьме в Феодосии при Врангеле и в Батуми при независимом Грузинском правительстве?

Как же ни брат поэта Е. Э. Мандельштам, ни знавший его составитель книги не рассказали Вам, что в 1934 г. Мандельштам был арестован и «кратковременно пребывал» в Чердыни, а потом в Воронеже не у «поклонников» и не в поисках новых впечатлений, а в ссылке? Что по окончании ссылки ему не разрешили вернуться в свой дом к своему быту (очень уж Вам и Н. Чуковскому нравится его «безбытность» и «аскетизм» — это ведь так «поэтично!»), и последний год на свободе Мандельштам скитался по захолустьям и нищенствовал? Да Вам все это известно лучше, чем кому бы то ни было, просто Вы взяли себе «социальный заказ» фальсифицировать жизнь Мандельштама и с усердием его выполняете.

Как эпически-спокойно повествуете Вы о том, что Мандельштам был «блуждающим светилом», «скитальцем», на литературном горизонте, с которого он «внезапно исчезал», что «свои стихотворения поэт редко сдавал в печать». Все это рассчитано на то, что читатель сделает вывод о Мандельштаме, как о чуде, чуть ли не блаженном. В переводе же на нелукавый язык это значит, что такой поэт Мандельштам был не нужен советской литературе и она извергла его из себя, как извергла Ахматову, Цветаеву...

Зачем Вам понадобилось, не объясняя причин, нагнетать «нервозность», «нервические раздумья», «душевную угнетенность», «нервную депрессию»? Может быть, Вы надеетесь, что, прочтя после этого фразу «В 1937 г. оборвался творческий путь Мандельштама», неосведомленный читатель поверит, что поэт душевно заболел и просто перестал писать стихи? «В марте 1937 г. больной, предчувствующий скорую смерть...» — можно подумать, что Мандельштам тихо угасал в собственной постели и умер на руках все тех же безутешных «поклонников»! Уж Вы-то прекрасно знаете, что он погиб в лагере на Колыме и посмертно реабилитирован. Правда, он умер не в начале

1938 г., как Вы для чего-то пишете, а 27 декабря — об этом Вы, исследователь, могли бы и узнать. Как же у Вас рука поднялась так изуродовать и опошлить жизнь и облик погибшего поэта?! Или Вам совершенно безразлично, чем торговать — лишь бы деньги платили?

Мандельштам — не Ваш поэт. Все, что Вы пишете о стихах, так примитивно и неинтересно, как будто речь идет о Безыменском или Щипачеве. В стихах Вы видите только то, что сверху, первый слой, слова. Достаточно прочесть Ваш разбор значения у Мандельштама слов «ласточка» и «век». Однако литературоведческую беспомощность Вы ловко соединяете с беззастенчивым передергиванием цитат и фактов. Вам ведь нужно фальсифицировать все: творчество Мандельштама, его мировоззрение, отношение к поэзии — и тем самым свести на нет его трагедию, самый смысл его жизни. Для этого Вы ничем не брезгуете. Ухватившись за какое-нибудь слово, вырвав его из контекста, перевернув смысл с ног на голову, Вы доказываете что-нибудь недоказуемое и Мандельштаму совершенно чуждое. Так, выхватив из лирической строчки:

С миром державным я был лишь ребячески связан...

слова «мир державный», Вы мусолите их до тех пор, пока не доходите до «ненависти» к «миру державному». Остановитесь! Какая аристократия, какая военщина, а — главное — какая ненависть? Мандельштам по душевной высоте и широте не был способен к ненависти (разве только к задушившим его литературным чиновникам), если даже о конвоирах, везших его в ссылку, написал: «Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?»

Такие же недопустимые манипуляции производите Вы с «веком-волкодавом», со словами «дыша и большевея» — со всем буквально, к чему прикасается Ваше перо. Здесь работа жонглера, а не литературоведа. Это вообще недопустимо, в данном случае в особенности: речь идет не о стихах десятистепенного поэта, а о «месте человека во вселенной».

Исходя из Вашей статьи, у Мандельштама такого места нет совсем: он все время от кого-то отстает, кого-то не может догнать, с кем-то не выдерживает соревнования. Вы не в состоянии — литературно и нравственно — позитивно охарактеризовать творчество и взгляды поэта, о котором взялись писать, а потому пользуетесь негативным мето-

дом. Мандельштам у Вас «не составил себе сколько-нибудь четкого представления о марксизме», «не умел органично войти в ряды писателей, уверенно шедших навстречу жизни», «не всегда мог расширить свой творческий кругозор», «не поднялся до позиций Блока» (бедный Блок! Избави бог его от таких, как Вы, хвалителей!), «не сумел подняться до поэтического воплощения лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую», «приветствовал новую современность, но не осознал во всей полноте ее социалистического содержания и характера»; «нехватка широкого общественного дыхания, недостаточная чуткость к пульсу времени сужала круг читателей его стихов», «он не шагнул широко в сторону новых читательских масс».

Для Вас место Мандельштама «во вселенной» — «поэт-переходник». Откуда это уродливое, безобразное слово? Где Вы его взяли? Что оно должно обозначать? Мандельштам никуда не «переходил» и никакого «переходного периода» не выражал. О ком Вы все это пишете? Какое отношение все эти «представления», «воплощения», «нехватки» могут иметь к поэту Осипу Мандельштаму, мыслившему просто совершенно другими категориями? На таком уровне и такими словами можно, может быть, писать про Жарова или Уткина, — но не про Мандельштама. Понимаете ли Вы вообще, что такое поэзия, что такое Поэт, чувствуете ли, чем Пушкин отличается, например, от Асеева или Сергея Острового? Похоже, что нет, что, кроме злого умысла, в Вашей статье выразилась еще «нехватка» умения «органично войти» в творческий мир настоящего поэта.

К тому же Ваш собственный жизненный опыт, по-видимому, не дает Вам возможности понять человека — Мандельштама — от начала до конца оставшегося самим собой, своей душой не поступившегося, не пытавшегося «служить», «догонять», «соревноваться».

Конечно, поэт и его поэзия менялись с годами, но не потому что, как у Вас сказано, «он серьезно задумывался и относительно перспектив своего идейного роста», а потому что Мандельштам умел видеть мир, думать о смысле бытия, собственной жизни и о том, что происходит вокруг. Это естественный процесс накопления и осмысления жизненного опыта, а не стремление «шагнуть широко в сторону» кого бы то ни было.

Впрочем, Вас сущность не интересует. На протяжении

всей статьи Вы или «отечески» журите и поучаете Мандельштама или пытаетесь оправдать его — очевидно, в своих собственных глазах, ибо в других оправданиях он не нуждается. Разделавшись со стихами, Вы взялись за статьи поэта о литературе и обошлись с ними ничуть не лучше. Здесь Вам совсем свободно: статьи Мандельштама — давно библиографическая редкость, и мало кто может схватить Вас за руку. Поэтому Вы позволяете себе исказить все: поэтические связи Мандельштама, его взгляды на историю, культуру, на место и назначение поэта. Вот лишь два примера.

Приводя ответ Мандельштама на анкету «Читатель и писатель», Вы обрываете цитату на середине фразы: «Чувствую себя должником революции...» и сообщаете читателю, как он тяготился «биографией», средой, окружением. Ах, бедный Мандельштам, по-вашему, он мучался, не зная, чем расплатиться с долгами... Между тем оборванная Вами фраза кончается недвусмысленно: «...но *приношу ей дары*, в которых она пока что (выделено мною. — В. Ш.) не нуждается».

Мандельштам, в отличие от Вас, понимал, что его поэзия — «дары». Слово в издевку, оборвав цитату, извратив смысл не только этой заметки, но и основного жизненного убеждения поэта, Вы комментируете: «Все, сказанное поэтом в этих строках, было сказано с полной, с предельной искренностью». В искренности Мандельштама сомневаться не приходится. Почему же Вы обошли последний абзац, где поэт и утверждает свое понимание отношения «поэт и время»: «...я глубоко убежден, что при всей зависимости и обусловленности писателя соотношением общественных сил, современная наука не обладает никакими средствами, чтобы вызвать появление тех или иных желательных писателей». Мандельштам ошибся: без всякой науки удалось развести легион «желательных писателей». Однако, если бы Вы познакомили читателя с этими его словами, Вам не пришлось бы писать свою статью и доказывать, что Мандельштам стремился, но так и не смог «соответствовать». Он предвосхитил Ваши бесплодные попытки научить его уму-разуму и ответил Вам еще в 1928 г.: он не мог быть «желательным писателем», он мог быть только самим собой. И это не случайно сорвавшаяся с уст поэта обмолвка, а его кредо, неоднократно подчеркнутое. Вот хотя бы в статье 1924 г. «Выпад», тоже Вами упоминаемой: «Бедная поэзия шархается под



множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она *совсем не должна, никому она не должна*, (выделено мною.— В. Ш.), кредиторы у нее все фальшивые!» А Вы на страницах мандельштамовской книги яростно играете роль его кредитора.

Второе. Вы пишете: «...Возникшее у поэта отвращение к бессердечно-холодной интеллектуальной элите, к снобизму и дендизму также содействовало его отходу от акмеистической группы<sup>1</sup>. Литераторы из «Цеха поэтов» стали ему духовно чуждыми. Нравственно опустошенные эстеты вызывали у него раздражение и негодование... Мандельштам отвернулся от эстетствующих, от живущих без идеалов и вдохновения, от всех тех, о ком он несколькими годами позднее написал с горечью и без пощады: «Кто же они, эти люди — не глядящие прямо в глаза, потерявшие вкус и волю к жизни, тщетно пытающиеся быть интересными, в то время, как им самим ничего не интересно?»

После слов Мандельштама Вы даете сноску, указывающую, что цитата взята Вами из очерка «Армия поэтов», напечатанного в «Огоньке» в 1923 г. Не сомневаюсь, что Вы прочли очерк и отлично знаете, что ни к «интеллектуальной элите», ни к акмеистам, ни к «Цеху» слова Мандельштама не имеют абсолютно никакого отношения. Очерк посвящен графomanам начала 20-х годов, поэт пытается понять характер и социальные корни графоманства, но ни одного намека на то, к чему Вы приплели его слова, у Мандельштама нет. Кто же Вам позволил так «цитировать»? Да еще делать далеко идущие выводы из собственных словесных фокусов?

Да побойтесь Бога! Нельзя же так обращаться с человеком, который не может ни вызвать Вас на дуэль, ни подать в суд за клевету, ни вообще как бы то ни было за себя вступить! Впрочем, Вы, конечно, никого не боитесь.

Позорно читать Ваши «заклинания» на тему о том, что Мандельштам «разорвал с иудаизмом» и «стал русским поэтом, сыном России, деятелем ее культуры». В оплеваные Вами 10-е годы, когда Мандельштам начинал, никому не приходило в голову в этом усомниться. Ему не надо было становиться русским поэтом — он был им отродясь.

<sup>1</sup> Неправда! Никогда Мандельштам не заявлял о таком отходе.

Для этого вовсе не требовалось отрываться от своих предков, своей еврейской крови, даже от иудаизма, если б он чувствовал себя иудеем. Он был русским поэтом и таким останется. Почему же сегодня Вам приходится извиняться за то, что Мандельштам — еврей, придумывать ему какие-то «разрывы»? Этак Вам чего доброго придется скоро доказывать, что Пушкин и Айвазовский, например, — сыны России и деятели ее культуры, а не арап и армянин, случайно захватившие чужие места. Не стыдно ли Вам, еврею и старому человеку, заниматься столь грязным и неблагодарным делом?

Я никогда ничего Вашего не читала и теперь уж наверняка читать не буду. Слышала о Вас как о человеке крайне беспринципном, но эта статья Ваша превзошла все самые худые ожидания. Вместо радости, которую должна была принести книга великого поэта, изданная впервые за 45 — сорок пять! — лет, она обернулась благодаря Вам надругательством над его памятью. Не оправдывайте себя тем, что эта статья, может быть, помогла выходу книги. Мандельштам в Вашей помощи не нуждается. Стихи его были сохранены и остались живы без Вас; без Вас их переписывали и читали все, кто любит русскую поэзию. Вы же просто примазались к его честному и светлому имени. Вероятно, эта статья и сохранит Ваше имя в истории литературы. Но, кроме позора, она не принесет Вам ничего.

Москва, 29 января 1974 г.

Для чего я все это ему написала? Прежде всего — для себя, чтобы сбросить тяжесть с собственной души. Ну, и конечно, не без мысли, что ему будет неприятно читать это письмо.

Именно в эти дни, сразу после выхода книги, Дымшиц был именинником и принимал — не вдова поэта, в собственной памяти спрятавшая и сохранившая полное собрание его сочинений, и не те редкие смельчаки, который хранили листки его стихов и писем, а Дымшиц принимал поздравления с появлением книги Мандельштама.

Видимо, в славословящем хоре единомышленников и прилипал резкой обидой прозвучало Дымшицу мое письмо. Такой обидой, что он даже снизошел до ответа.

Виктория Александровна!

Получил Ваше грубое ругательное письмо.

Не пойму, зачем Вы мне, советскому человеку и совет-

3.2.74

скому литератору, пожелали поведать Ваши соображения, созвучные тому, что пишется в «Гранях» или «Новом журнале» и вещается радиостанциями «Свобода» или «Свободная Европа»? Может быть, Вы чей-то порученец, просто — подставное лицо?

Вы обещаете в дальнейшем меня не читать. Весьма отраднo. Такой читатель, как Вы, мне не нужен. Мне не нужен читатель, который не любит советскую литературу и советскую жизнь, который не способен вдуматься в то, что читает, который приписывает автору мнимые грехи, который выдергивает из текста слова-слова-слова, толкуя их вкривь и вкось.

Скажу Вам по совести: злоба и глупость — родные сестры. Злоба — плохой советчик. А глупость — неизлечима.

*А. Дымшиц*

Хотела было я ответить Дымшицу, что мне не доступны ни «Грани», ни «Новый журнал», ни другие зарубежные издания, да решила не связываться с ним больше. Стоит ли вступать в спор с человеком, который не способен представить, что кто-то может себе позволить по собственной инициативе думать и говорить не так, как официально положено?!

Эта публикация является переработанной редакцией статьи В. А. Швейцер «Дымшиц и Мандельштам: история одного предисловия» (Время и мы. 1979. № 45. С. 121—136.)

*В оформлении книги использована фотокопия автографа стихотворения О. Э. Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»*

*Часть средств, полученных от реализации этого сборника, издательство перечисляет на счет Мандельштамовского общества*

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителей . . . . .	4
<b>ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. ПУБЛИКАЦИИ</b>	
<b>Сочинение:</b>	
Преступление и наказание в «Борисе Годунове» . . . . .	5
<b>Рецензия:</b>	
На кн.: Джек Лондон. Собрание сочинений с предисловием Л. Андреева. Пер. с англ. под ред. А. Н. Кудрявцевой. СПб, 1912. К-во «Прометей» Н. Н. Михайлова . . . . .	10
<b>Очерки:</b>	
Севастополь. Крымские впечатления . . . . .	12
<b>Неизвестные переводы:</b>	
Из повести Жюль Ромэна «Обормоты». Из пьесы Э. Синклера «Тюремные соловушки». Из повести Дж. Тулли «Автобиография бродяги» . . . . .	16
<b>Рецензия:</b>	
<А. Серафимович. «Город в степи»> . . . . .	20
<b>Статья:</b>	
<«Чехов. Действующие лица...»> . . . . .	25
<b>ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ</b>	
<i>Лазарь Розенталь.</i> Мандельштам. Бородатый Мандельштам . . . . .	29
<i>Элеонора Гурвич.</i> Что помнится . . . . .	38
Осип Мандельштам в «Мемуарах» Рюрика Ивнева . . . . .	40
<i>Наталья Эфрос.</i> Абрам Эфрос и Осип Мандельштам . . . . .	51
<i>Федор Волькенштейн.</i> Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама . . . . .	53
В марте 1938 года...: Письмо В. П. Ставского Н. И. Ежову. Отзыв П. А. Павленко о стихах О. Мандельштама . . . . .	57
<i>В. Б. Некрасова.</i> О семье Синани . . . . .	60
<i>Г. С. Кузина.</i> Материалы к биографии Бориса Сергеевича Кузина . . . . .	65
<b>СТАТЬИ</b>	
<i>Владимир Микушевич.</i> Ось (звукосимвол О. Мандельштама) . . . . .	69
<i>Леонид Кацис.</i> «Дайте Тютчеву стрекозу...» . . . . .	75
<i>Виктория Швейцер.</i> Дымшиц и Мандельштам . . . . .	84